

Я ❤️ **читать**

Фазиль
ИСКАНДЕР
**ЗОЛОТО
ВИЛЬГЕЛЬМА**

Современные и классические бестселлеры



Фазиль Искандер
Золото Вильгельма (сборник)

«ЭКСМО»

Искандер Ф. А.

Золото Вильгельма (сборник) / Ф. А. Искандер — «Эксмо»,

С безупречным чувством юмора и тонким знанием психологии человека Фазиль Искандер рассказывает о мире детства, формировании детского характера в известной повести «Школьный вальс, или Энергия стыда». Описывает общество и нравы советской, постсоветской и современной России. В состав сборника вошли главы из повести «Стоянка человека», рассказы, повествующие об особенностях психологии советского и русского человека, в том числе в сталинские времена, и социальные произведения о постперестроечном времени, раскрывающие важнейшую проблему российского общества: утрату сюжета существования самой страны. Размышления, подчас лиричные по настрою, о современной России переплетены с острой сатирой на нравы постперестроечного времени, полны переживаний за судьбу русской земли. Завершается книга философским диалогом Бога и дьявола о природе человека.

© Искандер Ф. А.

© Эксмо

Содержание

Школьный вальс, или Энергия стыда	5
Начало	5
Петух	14
Рассказ о море	18
Детский сад	22
Мой первый школьный день	29
Мой дядя самых честных правил...	61
Время счастливых находок	70
Тринадцатый подвиг Геракла	78
Время по часам	87
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Фазиль Искандер

Золото Вильгельма (повести и рассказы)

Школьный вальс, или Энергия стыда

Начало

Поговорим просто так. Поговорим о вещах необязательных и потому приятных. Поговорим о забавных свойствах человеческой природы, воплощенной в наших знакомых. Нет большего наслаждения, как говорить о некоторых странных привычках наших знакомых. Ведь мы об этом говорим, как бы прислушиваясь к собственной здоровой нормальности, и в то же время подразумеваем, что и мы могли бы позволить себе такого рода отклонения, но не хотим, нам это ни к чему. А может, все-таки хотим?

Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими людьми. Иной пищит, а доигрывает.

Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе исполнительного мула, сколько ни сопротивляйся, ничего не получится. Своим сопротивлением ты, наоборот,крепишься в этом звании. Вместо простого исполнительного мула ты превратишься в упорствующего или даже озлобленного мула.

Правда, в отдельных случаях человеку удается навязать окружающим свой желательный образ. Чаще всего это удается людям много, но систематически пьющим.

Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не пил. Про одного моего знакомого так и говорят: мол, талантливый инженер человеческих душ, губит вином свой талант. Попробуй вслух сказать, что он, во-первых, не инженер, а техник человеческих душ, а во-вторых, кто видел его талант? Не скажешь, потому что неблагоприятно получается. Человек и так пьет, а ты еще осложняешь ему жизнь всякими кляузками. Если пьющему не можешь помочь, то, по крайней мере, не мешай ему.

Но все-таки человек доигрывает тот образ, который навязан ему окружающими людьми.

Однажды, когда я учился в школе, мы всем классом работали на одном приморском пустыре, стараясь превратить его в место для культурного отдыха. Как это ни странно, в самом деле превратили.

Мы засадили пустырь эвкалиптовыми саженцами передовым для того времени методом гнездовой посадки. Правда, когда саженцев оставалось мало, а на пустыре было еще достаточно свободного места, мы стали сажать по одному саженцу в ямку, таким образом давая возможность новому, прогрессивному методу и старому проявить себя в свободном соревновании.

Через несколько лет на пустыре выросла прекрасная эвкалиптовая роща, и уже никак невозможно было различить, где гнездовые посадки, а где одиночные. Тогда говорили, что одиночные саженцы в непосредственной близости от гнездовых, завидуя им Хорошей Завистью, подтягиваются и растут не отставая.

Так или иначе, сейчас, приезжая в родной город, я иногда в жару отдыхаю под нашими, теперь огромными, деревьями и чувствую себя Взволнованным Патриархом. Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дожидаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны.

Но дело не в этом. Дело в том, что в тот давний день, когда мы возделывали пустырь, один из ребят обратил внимание остальных на то, как я держу носилки, на которых мы пере-

таскивали землю. Военрук, присматривавший за нами, тоже обратил внимание на то, как я держу носилки. Все обратили внимание на то, как я держу носилки. Надо было найти повод для веселья, и повод был найден. Оказалось, что я держу носилки как Отъявленный Лентяй.

Это был первый кристалл, выпавший из раствора, и дальше уже шел деловитый процесс кристаллизации, которому я теперь сам помогал, чтобы окончательно докристаллизироваться в заданном направлении.

Теперь все работало на образ. Если я на контрольной по математике сидел, никому не мешая, спокойно дожидаясь, покамест мой товарищ решит задачу, то все приписывали это моей лени, а не тупости. Естественно, я не пытался в этом кого-нибудь разуверить. Когда же я по русскому письменному писал прямо из головы, не пользуясь учебниками и шпаргалками, это тем более служило доказательством моей неисправимой лени.

Чтобы оставаться в образе, я перестал исполнять обязанности дежурного. К этому привыкли настолько, что, когда кто-нибудь из учеников забывал выполнять обязанности дежурного, учителя под одобрительный шум класса заставляли меня стирать с доски или тащить в класс физические приборы. Впрочем, приборов тогда не было, но кое-что тащить приходилось.

Развитие образа привело к тому, что я вынужден был перестать делать домашние уроки. При этом, чтобы сохранить остроту положения, я должен был достаточно хорошо учиться.

По этой причине я каждый день, как только начиналось объяснение материала по гуманитарным предметам, ложился на парту и делал вид, что дремлю. Если учителя возмущались моей позой, я говорил, что заболел, но не хочу пропускать занятий, чтобы не отстать. Лежа на парте, я внимательно слушал голос учителя, не отвлекаясь на обычные шалости, и старался запомнить все, что он говорит. После объяснения нового материала, если оставалось время, я вызывался отвечать в счет будущего урока.

Учителей это радовало, потому что льстило их педагогическому самолюбию. Получалось, что они так хорошо и доходчиво доносят предмет, что ученики, даже не пользуясь учебниками, все усваивают.

Учитель ставил мне в журнал хорошую оценку, звенел звонок, и все были довольны. И никто, кроме меня, не знал, что только что зафиксированные знания рушатся из моей головы, как рушится штанга из рук штангиста после того, как прозвучит судейское: «Вес взят!»

Для полной точности надо сказать, что иногда, когда я, делая вид, что дремлю, лежал на парте, я и в самом деле погружался в дремоту, хотя голос учителя продолжал слышать. Гораздо позже я узнал, что таким или почти таким методом изучают языки. Я думаю, не будет выглядеть слишком нескромным, если я сейчас скажу, что открытие его принадлежит мне. О случаях полного засыпания я не говорю, потому что они были редки.

Через некоторое время слухи об Отъявленном Лентяе дошли до директора школы, и он почему-то решил, что это именно я стащил подзорную трубу, которая полгода назад исчезла из географического кабинета. Не знаю, почему он так решил. Возможно, сама идея хотя бы зрительного сокращения расстояния, решил он, больше всего могла соблазнить лентяя. Другого объяснения я не нахожу. К счастью, подзорную трубу отыскали, но ко мне продолжали присматриваться, почему-то ожидая, что я собираюсь выкинуть какой-нибудь фокус. Вскоре выяснилось, что никаких фокусов я не собираюсь выкидывать, что я, напротив, очень послушный и добросовестный лентяй. Более того, будучи лентяем, я вполне прилично учился.

Тогда ко мне решили применить метод массированного воспитания, модный в те годы. Суть его заключалась в том, что все учителя неожиданно наваливались на одного нерадивого ученика и, пользуясь его растерянностью, доводили его успеваемость до образцово-показательного блеска.

Идея метода заключалась в том, что после этого другие нерадивые ученики, завидуя ему Хорошей Завистью, будут сами подтягиваться до его уровня, как одиночные посадки эвкалиптов.

Эффект достигался неожиданностью массированного нападения. В противном случае ученик мог ускользнуть или испакостить сам метод.

Как правило, опыт удавался. Не успевала мала-куча, образованная массированным нападением, рассосаться, как преобразованный ученик стоял среди лучших, нагло улыбаясь смущенной улыбкой обесчещенного.

В этом случае учителя, завидуя друг другу, может быть, не слишком Хорошей Завистью, ревниво по журналу следили, как он повышает успеваемость, и, уж конечно, каждый старался, чтобы кривая успеваемости на отрезке его предмета не нарушала победную крутизну.

То ли на меня навалились слишком дружно, то ли забыли мой собственный приличный уровень, но, когда стали подводить итоги работы надо мной, выяснилось, что меня довели до уровня кандидата в медалисты.

– На серебряную потянешь, – однажды объявила классная руководительница, тревожно заглядывая мне в глаза.

Это была маленькая самолюбивая каста неприкасаемых. Даже учителя сами слегка побаивались кандидатов в медалисты. Они были призваны защищать честь школы. Замахнуться на кандидата в медалисты было все равно что подставить под удар честь школы.

Каждый из кандидатов в свое время собственными силами добивался выдающихся успехов по какому-нибудь из основных предметов, а уже по остальным его дотягивали до нужного уровня. Включение меня в кандидаты было пока еще тихим триумфом метода массированного воспитания.

На выпускных экзаменах к нам были приставлены наиболее толковые учителя. Они подходили к нам и часто под видом разъяснения содержания билета тихо и сжато рассказывали содержание ответа. Это было как раз то, что нужно. Спринтерская усвояемость, отшлифованная во время исполнения роли Отъявленного Лентяя, помогала мне точно донести до стола комиссии благотворительный шепоток подстраховывающего преподавателя. Мне оставалось включить звук на полную мощность, что я и делал с неподдельным вдохновением.

Кончилось все это тем, что я вместо запланированной на меня серебряной медали получил золотую, потому что один из кандидатов на золотую по дороге сорвался и отстал.

Он был и в самом деле очень сильным учеником, но ему никак не давались сочинения и у него была слишком настырная мать. Она была членом родительского комитета и всем надоела своими вздорными предложениями, которые никто не принимал, но все вынуждены были обсуждать. Она даже внесла предложение кормить кандидатов усиленными завтраками, но члены родительского комитета своим демократическим большинством отвергли ее вредное предложение.

Так вот, мальчик этот, готовясь к первому экзамену, составил, чтобы избежать всякой случайности, двадцать сочинений на наиболее возможные темы по русской литературе. Каждое сочинение он сшил в микроскопический томик с эпитафией и библиографическим знаком на обложке, чтобы не запутаться. Двадцать лилипутских томиков можно было сжать в ладони одной руки.

Он успешно написал свое сочинение, но, видно, переутомился. На следующих экзаменах он хотя и правильно отвечал, но говорил слишком тихим голосом, а главное, задумывался и, что уже совсем непростительно, вдруг возвращался к сказанному, уточняя формулировки уже после того, как экзаменатор кивнул головой в знак согласия.

Когда экзаменатор или, скажем, начальник кивает тебе головой в знак согласия с тем, что ты ему говоришь, так уж, будь добр, валяй дальше, а не возвращайся к сказанному, потому что ты этим ставишь его в какое-то не вполне красивое положение.

Получается, что экзаменатору первый раз и не надо было кивать головой, а надо было дожидаться, пока ты уточнишь то, что сам же высказал. Так ведь не всегда уточняешь. Некоторые могли даже подумать, что, кивнув первый раз, экзаменатор или начальник не подозревали,

что эту же мысль можно еще точнее передать, или даже могли подумать, что в этом есть какая-то беспринципность: мол, и там кивает, и тут кивает.

Сам не замечая того, он оскорблял комиссию, как бы снисходил до нее своими ответами.

В конце концов было решено, что он зазнался за время своего долгого пребывания в кандидатах, и на двух последних экзаменах ему на балл снизили оценки.

Вместо него я получил золотую медаль и зонтиком по шее от его мамы на выпускном вечере. Вернее, не на самом вечере, а перед вечером в раздевалке.

– Негодяй, притворявшийся лентяем! – сказала она, увидев меня в раздевалке и одергивая зонтик.

Мне бы промолчать или, по крайней мере, потерпеть, пока она повесит свой вонючий зонтик.

– Все же он получает серебряную, – сказал я, чувствуя, что мое утешение должно ее раздражать, и, может, именно поэтому утешая.

– Мне серебро даром не надо, – прошипела она и, неожиданно вытянув руку, несколько раз мазнула мне по шее мокрым зонтиком. – Я три года проторчала в комитете!

Она это сделала с такой злостью, словно то, что она мазнула мне по шее зонтиком, ничего не стоит, что, в сущности, шею мою надо было бы перепилить.

– А я вас просил торчать? – только и успел я сказать. Слава богу, из ребят никто ничего не заметил. Но все равно было обидно. Особенно было обидно, что он был мокрый. Если б сухой, не так было бы обидно.

В тот же год я поехал учиться в Москву, а самую медаль, которую я еще не видел, через несколько месяцев принесли маме прямо на работу. Она показывала ее знакомому зубному технику, чтобы убедиться в подлинности золота.

– Сказал, настоящее, если он не заодно с ними, – рассказывала она мне на следующий год, когда я приехал на каникулы.

Так, доигрывая навязанный мне образ Отъявленного Лентяя, я пришел к золотой медали, хотя и получил мокрым зонтиком по шее.

И вот с аттестатом, зашитым в кармане вместе с деньгами, я сел в поезд и поехал в Москву. В те годы поезда из наших краев шли до Москвы трое суток, так что времени для выбора своей будущей профессии было достаточно, и я остановился на философском факультете университета. Возможно, выбор определило следующее обстоятельство.

Года за два до этого я обменялся с одним мальчиком книгами. Я дал ему «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойля, а он мне – один из разрозненных томов Гегеля, «Лекции по эстетике». Я уже знал, что Гегель – философ и гений, а это в те далекие времена было для меня достаточно солидной рекомендацией.

Так как я тогда еще не знал, что Гегель для чтения трудный автор, я читал, почти все понимая. Если попадались абзацы с длинными, непонятными словами, я их просто пропускал, потому что и без них было все понятно. Позже, учась в институте, я узнал, что у Гегеля, кроме рационального зерна, немало идеалистической шелухи разбросано по сочинениям. Я подумал, что абзацы, которые я пропускал, скорее всего и содержали эту шелуху.

Вообще я читал эту книгу, раскрывая на какой-нибудь стихотворной цитате. Я обчитывал вокруг нее некоторое пространство, стараясь держаться возле нее, как верблюд возле оазиса. Некоторые мысли его удивили меня высокой точностью попадания. Так, он назвал басню рабским жанром, что было похоже на правду, и я постарался это запомнить, чтобы в будущем по ошибке не написать басни.

Не испытывая никакого особого трепета, я пришел в университет на Моховой. Я поднялся по лестнице и, следуя указаниям бумажных стрел, вошел в помещение, уставленное маленькими столиками, за которыми сидели разные люди, за некоторыми – довольно юные девушки. На каждом столике стоял плакатик с указанием факультета. У столиков толпились

выпускники, томясь и медля перед сдачей документов. В зале стоял гул голосов и запах школьного пота.

За столиком с названием «Философский факультет» сидел довольно пожилой мужчина в белой рубашке с грозно закатанными рукавами. Никто не толпился возле этого столика, и тем безудержней я пересек это пространство, как бы выжженное философским скептицизмом.

Я подошел к столику. Человек, не шевелясь, посмотрел на меня.

– Откуда, юноша? – спросил он голосом, усталым от философских побед.

Примерно такой вопрос я ожидал и приступил к намеченному диалогу.

– Из Чегема, – сказал я, стараясь говорить правильно, но с акцентом. Я нарочно назвал дедушкино село, а не город, где мы жили, чтобы сильнее обрадовать его дремучеством происхождения. По моему мнению, университет, носящий имя Ломоносова, должен был особенно радоваться таким людям.

– Это что такое? – спросил он, едва заметным движением руки останавливая мою попытку положить на стол документы.

– Чегем – это высокогорное село в Абхазии, – доброжелательно разъяснил я.

Пока все шло по намеченному диалогу. Все, кроме радости по поводу моей дремучести. Но я решил не давать сбить себя с толку мнимой холодностью приема. Я ведь тоже преувеличивал высокогорность Чегема, не такой уж он высокогорный, наш милый Чегемчик. Он с преувеличенной холодностью, я с преувеличенной высокогорностью, в конце концов, думал я, он не сможет долго скрывать радости при виде далекого гостя.

– Абхазия – это Аджария? – спросил он как-то рассеянно, потому что теперь сосредоточил внимание на моей руке, держащей документы, чтобы вовремя перехватить мою очередную попытку положить документы на стол.

– Абхазия – это Абхазия, – сказал я с достоинством, но не заносчиво. И снова сделал попытку вручить ему документы.

– А вы знаете, какой у нас конкурс? – снова остановил он меня вопросом.

– У меня медаль, – расплылся я и, не удержавшись, добавил: – Золотая.

– У нас медалистов тоже много, – сказал он и как-то засуетился, зашелестел бумагами, задвигал ящиками стола: то ли искал внушительный список медалистов, то ли просто пытался выиграть время.

– А вы знаете, что у нас обучение только по-русски? – вдруг вспомнил он, бросив шелестеть бумагами.

– Я русскую школу кончил, – ответил я, незаметно убирая акцент. – Хотите, я вам прочту стихотворение?

– Так вам на филологический! – обрадовался он и кивнул: – Вон тот столик.

– Нет, – сказал я терпеливо, – мне на философский.

Человек погрузился, и я понял, что можно положить на стол документы.

– Ладно, читайте. – И он вяло потянулся к документам.

Я прочел стихи Брюсова, которого тогда любил за щедрость звуков.

Мне снилось: мертвенно-бессильный,
Почти жилец земли могильной,
Я глухо близился к концу.
И бывший друг пришел к кровати
И, бормоча слова проклятий,
Меня ударил по лицу!

– И правильно сделал, – сказал он, подняв голову и посмотрев на меня.

– Почему? – спросил я, оглушенный собственным чтением и еще не понимая, о чем он говорит.

– Не заводите себе таких друзей, – сказал он не без юмора.

Все еще опьяненный своим чтением и самой картиной потрясающего коварства, я его не понял. Я растерялся, и, кажется, это ему понравилось.

– Пойду узнаю, – сказал он и, шлепнув мои документы на стол, поднялся, – кажется, на вашу нацию есть разнарядка.

Как только он скрылся, я взял свои документы и покинул университет. Я обиделся за стихи и разнарядку. Пожалуй, за разнарядку больше обиделся.

В тот же день я поступил в Библиотечный институт, который по дороге в Москву мне усиленно расхваливала одна девушка из моего вагона.

Если человек из университета все время давал мне знать, что я недотягиваю до философского факультета, то здесь, наоборот, человек из приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат, как слишком крупную для этого института и поэтому подозрительную купюру. Он присматривался к остальным документам, заглядывал мне в глаза, как бы понимая и даже отчасти сочувствуя моему замыслу и прося в ответ на его сочувствие проявить встречное сочувствие и хотя бы немного раскрыть этот замысел. Я не раскрывал замысла, и человек куда-то вышел, потом вошел и, тяжело вздохнув, сел на место. Я мрачнел, чувствуя, что переплачиваю, но не знал, как и в каком виде можно получить разницу.

– Хорошо, вы приняты, – сказал мужчина, не то удрученный, что меня нельзя прямо сдать в милицию, не то утешенный тем, что после моего ухода у него будет много времени для настоящей проверки документов.

Этот прекрасный институт в то время был не так популярен, как сейчас, и я был чуть ли не первым медалистом, поступившим в него. Сейчас Библиотечный институт переименован в Институт культуры и пользуется у выпускников большим успехом, что еще раз напоминает нам о том, как бывает важно вовремя сменить вывеску.

Через три года учебы в этом институте мне пришло в голову, что проще и выгодней самому писать книги, чем заниматься классификацией чужих книг, и я перешел в Литературный институт, обучавший писательскому ремеслу. По окончании его я получил диплом инженера человеческих душ средней квалификации и стал осторожно проламываться в литературу, чтобы не обрушить на себя ее хрупкие и вместе с тем увесистые своды.

Москва, увиденная впервые, оказалась очень похожей на свои бесчисленные снимки и киножурналы. Окрестности города я нашел красивыми, только полное отсутствие гор создавало порой ощущение незащитности. От обилия плоского пространства почему-то уставала спина. Иногда хотелось прислониться к какой-нибудь горе или даже спрятаться за нее.

Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным. Поэтому мы легко и быстро сошлись характерами. Людям нравятся наивные люди. Наивные люди дают нам возможность перенести оборонительные сооружения, направленные против них, на более опасные участки. За это мы испытываем к ним фортификационную благодарность.

Кроме того, я заметил, что москвичи даже в будни едят гораздо больше наших, со свойственной им наивностью оправдывая эту особенность тем, что наши по сравнению с москвичами едят гораздо больше зелени.

Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной не разгаданной, – это их постоянный, таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают.

– Тише! – встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к репродуктору. – Погоду передают.

Все затаив дыхание слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. В первое время, услышав это тревожное «тише!», я вздрагивал, думал, что начинается война или еще что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, неслыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханной по своей приятности погоды как будто бы тоже не ждут. Так в чем же дело?

Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна.

Именно с целью изучения глубинной причины интереса москвичей к погоде я несколько лет назад переселился в Москву. Ведь мое истинное призвание – это открывать и изобретать.

Чтобы не вызывать у москвичей никакого подозрения, чтобы давать им в своем присутствии свободно проявлять свой таинственный интерес к погоде, я и сам делаю вид, что интересуюсь погодой.

– Ну как, – говорю я, – что там передают насчет погоды? Ветер с востока?

– Нет, – радостно отвечают москвичи, – ветер юго-западный, до умеренного.

– Ну, если до умеренного, – говорю, – это еще терпимо.

И продолжаю наблюдать, ибо всякое открытие требует терпения и наблюдательности.

Но чтобы открывать и изобретать, надо зарабатывать на жизнь, и я пишу.

Но вот что плохо. Читатель начинает мне навязывать роль юмориста, и я уже сам как-то невольно доигрываю ее. Стоит мне взяться за что-нибудь серьезное, как я вижу лицо читателя, с выражением добродетельного терпения ждущего, когда я наконец начну про смешное.

Я креплюсь, но это выражение добродетельного терпения меня все-таки подтачивает, и я по дороге перестраиваюсь и делаю вид, что про серьезное я начал говорить нарочно, чтобы потом было еще смешней.

Вообще я мечтаю писать вещи без всяких там лирических героев, чтобы сами участники описываемых событий делали что им заблагорассудится, а я бы сидел в сторонке и только поглядывал на них.

Но чувствую, что пока не могу этого сделать: нет полного доверия. Ведь когда мы говорим человеку: делай все, что тебе заблагорассудится, мы имеем в виду, что ему заблагорассудится делать что-нибудь приятное для нас и окружающих. И тогда это приятное, сделанное как бы без нашей подсказки, делается еще приятней.

Но человек, которому доверили такое дело, должен обладать житейской зрелостью. А если он ею не обладает, ему может заблагорассудиться делать неприятные глупости или, что еще хуже, вообще ничего не делать, то есть пребывать в унылом бездействии.

Вот и приходится ходить по собственному сюжету, приглядывать за героями, стараясь заразить их примером собственной бодрости:

– Веселее, ребята!

В понимании юмора тоже нет полной ясности.

Однажды на теплоходе «Адмирал Нахимов» я ехал в Одессу. Был чудесный сентябрьский день. Солнце кротко светило, словно радуясь, что мы едем в благословенный город Одессу, выдуманный могучим весельем Бабея.

Я стоял, склонившись над бортовыми поручнями. Нос корабля плавно разрезал и отбрасывал взрыхленные воды. Пенные струи проносились подо мной, издавая соблазнительный шорох тающей пены свежего бочкового пива. Но тут ко мне подошел мой читатель и тоже склонился над бортовыми поручнями. Пенные струи продолжали проноситься под нами, но восстановить ощущение тающей пены свежего бочкового пива больше не удавалось.

– Простите, – сказал он с понимающей улыбкой, – вы – это вы?

– Да, – говорю, – я это я.

– Я, – говорит он, все так же понимающе улыбаясь, – вас сразу узнал по кольцу.

– То есть по какому кольцу? – заинтересовался я и перестал слушать пену.

– В журнале печатались статьи с вашими портретами, – объяснил он, – где вы сняты с этим же кольцом.

В самом деле, так оно и было. Фотограф одного журнала сделал с меня несколько снимков, и с тех пор журнал несколько лет давал мои рассказы со снимками из этой серии, где я выглядел неунывающим, а главное, нестареющим женихом с обручальным кольцом, выставленным вперед, подобно тому, как раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястье с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.

Я уже было совсем собрался поругаться с редакцией за эту рекламу, но тут обнаружилось, что редакция больше не собирается меня печатать, и необходимость выяснять отношения отпала сама собой.

Пока я предавался этим не слишком веселым воспоминаниям, читатель мой пересказывал мне мои рассказы, упорно именуя их статьями. Дойдя до рассказа «Детский сад», он прямо-таки стал захлебываться от хохота, что в значительной мере улучшило мое настроение.

Честно говоря, мне этот рассказ не казался таким уж смешным, но, если он читателю показался таким, было бы глупо его разуверять в этом. Уподобляясь ему, перескажу содержание рассказа.

Во дворе детского сада росла груша. Время от времени с дерева падали перезревшие плоды. Их подбирали дети и тут же поедали. Однажды один мальчик подобрал особенно большую и красивую грушу. Он хотел ее съесть, но воспитательница отобрала у него грушу и сказала, что она пойдет на общий обеденный компот. После некоторых колебаний мальчик утешился тем, что его груша пойдет на общий компот.

Выходя из детского сада, мальчик увидел воспитательницу. Она тоже шла домой. В руке она держала сетку. В сетке лежала его груша. Мальчик побежал, потому что ему стыдно было встретиться глазами с воспитательницей.

В сущности, это был довольно грустный рассказ.

– Так что же вас так рассмешило? – спросил я у него.

Он снова затрясся, на этот раз от беззвучного смеха, и махнул рукой – дескать, хватит меня разыгрывать.

– Все-таки я не понимаю, – настаивал я.

– Неужели? – спросил он и слегка выпучил свои и без того достаточно выпуклые глаза.

– В самом деле, – говорю я.

– Так если воспитательница берет грушу домой, представляете, что берет директор детского сада?! – почти выкрикнул он и снова расхохотался.

– При чем тут директор? О нем в рассказе ни слова не говорится, – возразил я.

– Потому и смешно, что не говорится, а подразумевается, – сказал он и как-то странно посмотрел на меня своими выпуклыми, недоумевающими глазами.

Он стал объяснять, в каких случаях бывает смешно прямо сказать о чем-то, а в каких случаях прямо говорить не смешно. Здесь именно такой случай, сказал он, потому что читатель по разнице в должности догадывается, сколько берет директор, потому что при этом отталкивается от груши воспитательницы.

– Выходит, директор берет арбуз, если воспитательница берет грушу? – спросил я.

– Да нет, – сказал он и махнул рукой.

Разговор перешел на посторонние предметы, но я все время чувствовал, что заронил в его душу какие-то сомнения, боюсь, что творческие планы. Во время нашей беседы выяснилось, что он работает техником на мясокомбинате. Я спросил у него, сколько он получает.

– Хватает, – сказал он и обобщенно добавил: – С мяса всегда что-то имеешь.

Я рассмеялся, потому что это прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

– Что тут смешного? – сказал он. – Каждый жить хочет.

Это тоже прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

Я хотел было спросить, что именно он имеет с мяса, чтобы установить, что имеет директор комбината, но не решился.

Он стал держаться несколько суше. Я теперь его раздражал тем, что открыл ему глаза на его более глубокое понимание смешного, и в то же время сделал это нарочно слишком поздно, чтобы он уже не смог со мной состязаться. В конце пути он сурово взял у меня телефон и записал в книжечку.

– Может, позвоню, – сказал он с намеком на вызов.

Каждый день, за исключением тех дней, когда меня не бывает дома, я закрываюсь у себя в комнате, закладывая бумагу в свою маленькую прожорливую «Колибри» и пишу.

Обычно машинка, несколько раз вяло потягивая, надолго замолкает. Домашние делают вид, что стараются создать условия для моей работы, я делаю вид, что работаю. На самом деле в это время я что-нибудь изобретаю или, склонившись над машинкой, прислушиваюсь к телефону в другой комнате. Так деревенские свиньи в наших краях, склонив головы, стоят под плодовыми деревьями, прислушиваясь, где стукнет упавший плод, чтобы вовремя к нему подбежать.

Дело в том, что дочка моя тоже прислушивается к телефону, и если успевает раньше меня подбежать к нему, то ударом кулачка по трубке ловко отключает его. Она считает, что это такая игра, что, в общем, не лишено смысла.

О многих своих открытиях ввиду их закрытого характера, пока существует враждебный лагерь, я, естественно, не могу рассказать. Но у меня есть ряд ценных наблюдений, которыми я готов поделиться. Я полагаю, чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором.

Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным достоинством: оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что оно правдиво. Иначе говоря, не все правдивое смешно, но все смешное правдиво. На этом достаточно сомнительном афоризме я хочу поставить точку, чтобы не договориться до еще более сомнительных выводов!

Петух

В детстве меня не любили петухи. Я не помню, с чего это началось, но если заводился где-нибудь по соседству воинственный петух, не обходилось без кровопролития.

В то лето я жил у своих родственников в одной из горных деревень Абхазии. Вся семья – мать, две взрослые дочери, два взрослых сына – с утра уходила на работу: кто на прополку кукурузы, кто на ломку табака. Я оставался один. Обязанности мои были легкими и приятными. Я должен был накормить козлят (хорошая вязанка шумящих листьями ореховых веток), к полудню принести из родника свежей воды и вообще присматривать за домом. Присматривать особенно было нечего, но приходилось изредка покрикивать, чтобы ястребы чувствовали близость человека и не нападали на хозяйских цыплят. За это мне разрешалось как представителю хилого городского племени выпивать пару свежих яиц из-под кур, что я и делал добросовестно и охотно.

На тыльной стороне кухни висели плетеные корзины, в которые неслись куры. Как они догадывались нестись именно в эти корзины, оставалось для меня тайной. Я вставал на цыпочки и нащупывал яйцо. Чувствуя себя одновременно багдадским вором и удачливым ловцом жемчуга, я высасывал добычу, тут же надбив ее о стену. Где-то рядом обреченно кудахтали куры. Жизнь казалась осмысленной и прекрасной. Здоровый воздух, здоровое питание – и я наливался соком, как тыква на хорошо унавоженном огороде.

В доме я нашел две книги: Майн Рида «Всадник без головы» и Вильяма Шекспира «Трагедии и комедии». Первая книга потрясла. Имена героев звучали как сладостная музыка: Морис-мустангер, Луиза Пойндекстер, капитан Кассий Кольхаун, Эль-Койот и, наконец, во всем блеске испанского великолепия Исидора Коваруби де Лос-Льянос.

« – Просите прощения, капитан, – сказал Морис-мустангер и приставил пистолет к его виску.

– О, ужас! Он без головы!

– Это мираж! – воскликнул капитан».

Книгу я прочел с начала до конца, с конца до начала и дважды по диагонали.

Трагедии Шекспира показались мне смутными и бессмысленными. Зато комедии полностью оправдали занятия автора сочинительством. Я понял, что не шуты существуют при королевских дворах, а королевские дворы при шутах.

Домик, в котором мы жили, стоял на холме, круглосуточно продувался ветрами, был сух и крепок, как настоящий горец.

Под карнизом небольшой террасы лепились комья ласточкиных гнезд. Ласточки стремительно и точно влетали в террасу, притормаживая, трепетали у гнезда, где, распахнув клювы, чуть не вываливаясь, тянулись к ним жадные, крикливые птенцы. Их прожорливость могла соперничать только с неутомимостью родителей. Иногда, отдав корм птенцу, ласточка, слегка запрокинувшись, сидела несколько мгновений у края гнезда. Неподвижное, стрельчатое тело, и только голова осторожно поворачивается во все стороны. Мгновение – и она, срываясь, падает, потом, плавно и точно вывернувшись, выныривает из-под террасы.

Куры мирно паслись во дворе, чирикали воробьи и цыплята. Но демоны мятежа не дремали. Несмотря на мои предупредительные крики, почти ежедневно появлялся ястреб. То пикируя, то на бреющем полете он подхватывал цыпленка, утяжеленными мощными взмахами крыльев набирал высоту и медленно удалялся в сторону леса. Это было захватывающее зрелище, я иногда нарочно давал ему уйти и только тогда кричал для очистки совести. Поза цыпленка, уносимого ястребом, выражала ужас и глупую покорность. Если я вовремя поднимал шум, ястреб промахивался или ронял на лету свою добычу. В таких случаях мы находили цыпленка где-нибудь в кустах, контуженного страхом, с остекленевшими глазами.

– Не жилец, – говаривал один из моих братьев, весело отсекал ему голову и отправлял на кухню.

Вожаком куриного царства был огромный рыжий петух, пышный и коварный, как восточный деспот. Через несколько дней после моего появления стало ясно, что он ненавидит меня и только ищет повода для открытого столкновения. Может быть, он замечал, что я поедаю яйца, и это оскорбляло его мужское самолюбие? Или его бесила моя нерадивость во время нападения ястребов? Я думаю, и то и другое действовало на него, а главное, по его мнению, появился человек, который пытается разделить с ним власть над курами. Как и всякий деспот, этого он не мог потерпеть.

Я понял, что двоевластие долго продолжаться не может, и, готовясь к предстоящему бою, стал приглядываться к нему.

Петуху нельзя было отказать в личной храбрости. Во время ястребиных налетов, когда куры и цыплята, кудахтая и крича, разноцветными брызгами летели во все стороны, он один оставался во дворе и, гневно клопоча, пытался восстановить порядок в своем робком гареме. Он делал даже несколько решительных шагов в сторону летящей птицы, но, так как идущий не может догнать летящего, это производило впечатление пустой бравады.

Обычно он пасся во дворе или в огороде в окружении двух-трех фавориток, не выпуская, однако, из виду и остальных кур. Порою, вытянув шею, он посматривал в небо: нет ли опасности?

Вот скользнула по двору тень парящей птицы или раздалось карканье ворона, он воинственно вскидывает голову, озирается и дает знак быть бдительными. Куры испуганно прислушиваются, иногда бегут, ища укрытое место. Чаще всего это была ложная тревога, но, держа сожительниц в состоянии нервного напряжения, он подавлял их волю и добивался полного подчинения.

Разгребая жилистыми лапами землю, он иногда находил какое-нибудь лакомство и громкими криками призывал кур на пиршество.

Пока подбежавшая курица клевала его находку, он успевал несколько раз обойти ее, напыщенно волоча крыло и как бы захлебываясь от восторга. Затея эта обычно кончалась насильем. Курица растерянно отряхивалась, стараясь прийти в себя и осмыслить случившееся, а он победно и сыто озирался.

Если подбегала не та курица, которая приглянулась ему на этот раз, он загораживал свою находку или отгонял ее, продолжая урчащими звуками призывать свою новую возлюбленную. Чаще всего это была опрятная белая курица, худенькая, как цыпленок. Она осторожно подходила к нему, вытягивала шею и, ловко выклевав находку, пускалась наутек, не проявляя при этом никаких признаков благодарности.

Перебирая тяжелыми лапами, он постыдно бежал за ней, но и чувствуя постыдность своего положения, он продолжал бежать, на ходу стараясь сохранять солидность. Догнать ее обычно ему не удавалось, и он в конце концов останавливался, тяжело дыша, косился в мою сторону и делал вид, что ничего не случилось, а пробежка имела самостоятельное значение.

Между прочим, нередко призывы пировать оказывались сплошным надувательством. Клевать было нечего, и куры об этом знали, но их подводило извечное женское любопытство.

С каждым днем он все больше и больше наглел. Если я переходил двор, он бежал за мной некоторое время, чтобы испытать мою храбрость. Чувствуя, что спину охватывает морозец, я все-таки останавливался и ждал, что будет дальше. Он тоже останавливался и ждал. Но гроза должна была разразиться, и она разразилась.

Однажды, когда я обедал на кухне, он вошел и встал у дверей. Я бросил ему несколько кусков мамалыги, но напрасно. Он склевал подачку, но видно было, примиряться не собирается.

Делать было нечего. Я замахнулся на него головешкой, но он только подпрыгнул, вытянув шею наподобие гусака, и уставился ненавидящими глазами. Тогда я швырнул в него головешкой. Она упала возле него. Он подпрыгнул еще выше и ринулся на меня, извергая петушьи проклятия. Горящий, рыжий ком ненависти летел в меня. Я успел заслониться табуреткой. Ударившись о нее, он рухнул возле меня, как поверженный дракон. Крылья его, пока он встал, бились о земляной пол, выбивая струи пыли, и обдавали мои ноги холодком боевого ветра.

Я успел переменить позицию и отступал в сторону двери, прикрывшись табуреткой, как римлянин щитом.

Когда я переходил двор, он несколько раз бросался на меня. Каждый раз, взлетая, он пытался, как мне казалось, выключить мне глаз. Я удачно прикрывался табуреткой, и он, ударившись о нее, шлепался на землю. Оцарапанные руки мои кровоточили, а тяжелую табуретку все труднее было держать. Но в ней была моя единственная защита.

Еще одна атака – и петух мощным взмахом крыльев взлетел, но не ударился о мой щит, а неожиданно уселся на него.

Я бросил табуретку, несколькими прыжками достиг террасы и дальше – в комнату, захлопнув за собой дверь.

Грудь моя гудела, как телеграфный столб, по рукам лилась кровь. Я стоял и прислушивался, я был уверен, что проклятый петух стоит, притаившись за дверью. Так оно и было. Через некоторое время он отошел от дверей и стал прохаживаться по террасе, властно цокая железными когтями. Он звал меня в бой, но я предпочел отсиживаться в крепости. Наконец ему надоело ждать, и он, вскочив на перила, победно закукарекал.

Братья мои, узнав о моей баталии с петухом, стали устраивать ежедневные турниры. Решительного преимущества никто из нас не добивался, мы оба ходили в ссадинах и кровоподтеках.

На мясистом, как ломоть помидора, гребешке моего противника нетрудно было заметить несколько меток от палки: его пышный, фонтанирующий хвост порядочно ссохся, тем более нагло выглядела его самоуверенность.

У него появилась противная привычка по утрам кукарекать, взгромоздившись на перила террасы прямо под окном, где я спал.

Теперь он чувствовал себя на террасе, как на оккупированной территории.

Бои проходили в самых различных местах: во дворе, в огороде, в саду. Если я влезал на дерево за инжиром или за яблоками, он стоял и терпеливо дожидался меня.

Чтобы сбить с него спесь, я пускался на разные хитрости. Так, я стал подкармливать кур. Когда я их звал, он приходил в ярость, но куры предательски покидали его. Уговоры не помогали. Здесь, как и везде, отвлеченная пропаганда легко посрамлялась явлю выгоды. Пригоршни кукурузы, которую я швырял в окно, побеждали родовую привязанность и семейные традиции доблестных яйценок. В конце концов являлся и сам паша. Он гневно укорял их, а они, делая вид, будто стыдятся своей слабости, продолжали клевать кукурузу.

Однажды, когда тетка с сыновьями работала на огороде, мы с ним схватились. К этому времени я уже был опытным и хладнокровным бойцом. Я достал разлапую палку и, действуя ею как трезубцем, после нескольких неудачных попыток прижал петуха к земле. Его мощное тело неистово билось, и содрогания его, как электрический ток, передавались мне по палке.

Безумство храбрых вдохновляло меня. Не выпуская из рук палки и не ослабляя ее давления, я нагнулся и, поймав мгновение, прыгнул на него, как вратарь на мяч. Я успел изо всех сил сжать ему глотку. Он сделал мощный пружинистый рывок и ударом крыла по лицу оглушил меня на одно ухо. Страх удесятил мою храбрость. Я еще сильнее сжал ему глотку. Жилистая и плотная, она дрожала у меня в ладони, и ощущение было такое, будто я держу змею. Другой рукой я обхватил его лапы, клешнястые когти шевелились, стараясь дотянуться до моего тела и врезаться в него.

Но дело было сделано. Я выпрямился, и петух, издавая сдавленные вопли, повис у меня на руках.

Все это время братья вместе с теткой хохотали, глядя на нас из-за ограды. Что ж, тем лучше! Мощные волны радости пронизывали меня. Правда, через минуту я почувствовал некоторое смущение. Победенный ничуть не смирился, он весь клокотал мстительной яростью. Отпустить – набросится, а держать его бесконечно невозможно.

– Перебрось его в огород, – посоветовала тетка.

Я подошел к изгороди и швырнул его окаменевшими руками.

Проклятие! Он, конечно, не перелетел через забор, а уселся на него, распластав тяжелые крылья. Через мгновение он ринулся на меня. Это было слишком. Я бросился наутек, а из груди моей вырвался древний спасительный крик убегающих детей:

– Ма-ма!

Надо быть или очень глупым, или очень храбрым, чтобы поворачиваться спиной к врагу. Я это сделал не из храбрости, за что и поплатился.

Пока я бежал, он несколько раз догонял меня, наконец я споткнулся и упал. Он вскочил на меня, он катался на мне, надсадно хрипя от кровавого наслаждения. Вероятно, петух продолбил бы мне позвоночник, если бы подбежавший брат ударом мотыги не забросил его в кусты. Мы решили, что он убит, однако к вечеру петух вышел из кустов притихший и опечаленный.

Промывая мои раны, тетка сказала:

– Видно, вам вдвоем не ужиться. Завтра мы его зажарим.

На следующий день мы с братом стали его ловить. Бедняга чувствовал недоброе. Он бежал от нас с быстротой страуса. Он перелетел в огород, прятался в кустах, наконец забился в подвал, где мы его и выловили. Вид у него был затравленный, в глазах тоскливый укор. Кажется, он хотел мне сказать: «Да, мы с тобой враждовали. Это была честная мужская война, но предательства я от тебя не ожидал». Мне стало как-то не по себе, и я отвернулся. Через несколько минут брат отсек ему голову. Тело петуха запрыгало и забилося, а крылья, судорожно трепыхаясь, выгибались, как будто хотели прикрыть горло, откуда хлестала и хлестала кровь. Жить стало безопасно и... скучно.

Впрочем, обед удался на славу, а острая ореховая подлива растворила остроту моей неожиданной печали.

Теперь я понимаю, что это был замечательный боевой петух, но он не вовремя родился. Эпоха петушиных боев давно прошла, а воевать с людьми – пропавшее дело.

Рассказ о море

Я не помню, когда научился ходить, зато помню, когда научился плавать. Плавать я научился почти так же давно, как и ходить, но научился сам, а кто учил меня ходить – неизвестно. Воспитывали коллективно. Дом наш всегда был полон всякими двоюродными братьями и сестрами. Они спускались с гор, приезжали из окрестных деревень поступать в школы и техникумы и, поступая, проходили сквозь наш довольно тусклый дом, как сквозь тоннель. Среди них было немало забавных и интересных людей, некоторых я любил, но море мне все-таки нравилось больше, и поэтому я удирал к нему, когда только мог.

Летом море было ежедневным праздником. Бывало, только выйдем с ребятами со двора, а уж какое-то радостное волнение окрыляет шаги – быстрее, быстрее! Через весь город бежали на свидание с морем.

Конец улицы упирался в серую крепостную стену. За стеной – море. Крепость как бы пытается закрыть от города море, но это ей плохо удается. Запах моря, всегда мощный и свежий, спокойно и даже насмешливо проходит сквозь каменную преграду.

Мне кажется, если к старинной стене подвести человека, никогда не видевшего моря, он догадается даже в полный штиль: за стеной живет что-то могучее и прекрасное, и не успокоится, пока не прикоснется к нему.

До революции крепость была тюрьмой, а еще раньше она была собственно крепостью. Из крепости легко сделать тюрьму, а из тюрьмы можно сделать крепость. Среди обломков сохранилась камера, где, говорят, сидел Серго Орджоникидзе, тогда еще фельдшер Гудаутского уезда.

Сквозь приплюснутое узкое оконце он смотрел вдаль, как танкист в смотровую щель. Оконце позволяло смотреть только в одну сторону, в сторону моря. Человек, который должен смотреть в одну сторону, или ничего не видит, или видит больше тех, кто вынудил его смотреть в одну сторону. Если бы в долгие часы тюремного одиночества он видел только кусок моря, перечеркнутый железными прутьями, он смирился бы или сошел с ума. Но он видел больше и потому победил.

Обо всем этом мы тогда не думали. Мы проходили через крепостной двор, всегда вкусно пахнущий жареной рыбой, мимо ярко выбеленных рыбацких домиков. Белье, развешанное на веревках, плотно надувалось ветром, близость моря не давала ему покоя, пеленки подражали парусам.

И наконец, море! Огромное и неожиданное, оно врывалось в глаза и обдавало стойкой соленой свежестью. Обычно не хватало терпения дойти до него, и мы сбегали по крутой тропинке на берег и, не успев притормозить, летели в теплую, ласковую воду.

Когда пришла пора искать клады, один мой школьный товарищ шепнул мне, что видел в одном месте в море золотые монеты. Поклявшись никому не говорить об этой тайне, мы расстались до следующего дня. Ночью я плохо спал: ворочался, вскакивал, никак не мог дождаться рассвета. Чуть забрезжило, я встал и на цыпочках выскользнул из дому. Мы встретились у старой крепости. Говорили почему-то шепотом, хотя кругом на полкилометра простирался пустынный пляж. Было по-утреннему зябко, вода тихо плескалась у ног. Мы взобрались на мокрый от утренней сырости обломок крепостной стены и осторожно переползли к его краю. Легли на живот и стали глядеть. Через некоторое время товарищ мой ткнул пальцем в воду. Свесив голову, замирая от волнения, я вглядывался, но ничего не видел, кроме смутного очертания дна. Но он очень хотел, чтобы я увидел монеты. И я наконец увидел их. Как бы колыхаясь, они таинственно поблескивали сквозь толщу воды. Разглядеть их можно было в короткое мгновение, когда одна волна уже пробежала, а другая еще не подошла.

Мы разделись и начали нырять. Вода еще была очень холодная: дело происходило в апреле или в начале мая. Я несколько раз нырнул, но до дна не достал. Не хватало дыхания, и уши сильно болели.

Я тогда еще не знал, что нырять нужно под углом, а не вертикально, как это я делал. Нырять под углом, проходишь большее расстояние до дна, зато идти легко, а главное – уши привыкают к давлению и не болят.

Каждый раз я почти доныривал до дна, казалось, только протяни руку – и схватишь монеты, но меня обманывала прозрачность воды. Наконец мне пришлось в голову броситься в воду со скалы, чтобы глубже нырнуть за счет инерции прыжка. Я бухнулся в воду и без труда донырнул до дна. Схватив монеты вместе с горстью песка, я с силой оттолкнулся и вынырнул. Ухватившись рукой за каменный выступ, я осторожно приподнял другую руку. Песок стыдливыми струйками стекал с ладони, а на ладони моей блестели две металлические пробки, которыми обычно закрывают бутылки с минеральной водой. Видно, какая-то компания трезво пировала, устроившись на этой каменной глыбе. Дорого же нам обошелся этот нарзанский пир! С трудом продев одеревеневшие руки и ноги в одежду, мы долго подпрыгивали и бегали по берегу, пока не согрелись. Море подшутило над нами.

Я люблю это место. Здесь можно было часами жариться, лежа на скале, лениво следя за дымящими теплоходами или парящими парусниками. В камнях водились крабы, мы их ловили, натывая на заостренный железный прут. Море в этих местах наступает на берег: можно заплывать и метрах в двадцати от берега нащупать ногами ржавый обломок стены, неподвижно стоять на нем по грудь в воде, легким движением рук удерживая равновесие.

Я люблю это место. Здесь я когда-то научился плавать, и здесь же я чуть не утонул. Обычно любишь места, где пережил большую опасность, если она не результат чьей-то подлости.

Я хорошо запомнил день, когда научился плавать, когда я почувствовал всем телом, что могу держаться на воде и что море держит меня. Мне, наверное, было лет семь, когда я сделал это великолепное открытие. До этого я барахтался в воде и, может быть, даже немного плавал, но только если я знал, что в любую секунду могу достать ногами дно.

Теперь это было совсем новое ощущение, как будто мы с морем поняли друг друга. Я теперь мог не только ходить, видеть, говорить, но и плавать, то есть не бояться глубины. И научился я сам! Я обогатил себя, никого при этом не ограбив.

Недалеко от берега из воды торчал зеленоватый обломок крепостной стены, через него перекачивались легкие волны. Я доплывал до него, ложился плашмя и отдыхал. Это было похоже на путешествие на необитаемый остров. Впрочем, остров был не такой уж необитаемый. С набегающей волной иногда выплескивался краб, неуклюже забегал за край скалы и, высываясь из-за камня, следил за мной злыми, хозяйскими глазами. Если глядеть в глубину, можно было заметить каких-то серебристых мальков, которые неожиданно пронеслись, вспыхивая как искры, выбитые из головешки.

Иногда я ложился на спину и, когда волна перекачивалась через меня, видел диск солнца, качающийся и мягкий.

Вокруг, в воде и на берегу, было много народу. Отдыхающих легко было узнать по неестественно белым телам или искусственно темному загару. На вершине каменной глыбы, громоздившейся на берегу, сидела девушка в синем купальнике. Она читала книгу – вернее, делала вид, что читает, точнее, притворялась, что пытается читать. Рядом с ней на корточках сидел парень в белоснежной рубашке и в новеньких туфлях, блестящих и черных, как дельфинья спина. Он ей что-то говорил. Девушка, иногда откидывала голову, смеялась и шурилась не то от солнца, не то оттого, что парень слишком близко и слишком прямо смотрел на нее. Отсмеявшись, она решительно опускала голову, чтобы читать, но парень опять что-то говорил, и она опять смеялась, и зубы ее блестели, как пена вокруг скалы и как рубашка парня. Он ей все

время приятно мешал читать. Я следил за ними со своего островка и, хоть ничего не понимал в таких делах, понимал, что им хорошо. Парень иногда поворачивал голову и мельком глядел в сторону моря, как бы призывая его в свидетели. Он глядел весело и уверенно, как подобает человеку, у которого все хорошо и еще долго будет все хорошо. Мне было приятно их видеть, и я вздрагивал от смутного и сладкого сознания, что когда-нибудь и у меня будет такое.

От долгого купания я продрог, но, не успев как следует отогреться на берегу, снова лез в воду. Я боялся, что чудо не повторится и я не смогу удержаться на воде.

До скалы и обратно – раз. До скалы и обратно – два, до скалы и обратно... И вдруг я понял, что тону. Хотел вдохнуть, но захлебнулся. Вода была горькая, как английская соль, холодная и враждебная. Я рванулся изо всех сил и вынырнул. Солнце ударило по лицу, я услышал всплеск воды, смех, голоса и увидел парня и девушку.

Не знаю почему, выныривая, я не кричал. Возможно, не успевал, возможно, язык отнимался от страха. Но мысль работала ясно. Оттого, что я не мог кричать, было страшно, как это бывает во сне, и я с отчаянной жадной ждал, что парень повернется в сторону моря. Но вдруг у меня в голове мелькнула неприятная догадка, что он не прыгнет в море в таких отутюженных брюках, в такой белоснежной рубашке, что я вообще не стою порчи таких прекрасных вещей. С этой грустной мыслью я опять погрузился в воду, она казалась мутной и равнодушной. Нахлебавшись воды, я опять рванулся, и солнце опять ударило по глазам, и вокруг с удесятеренной отчетливостью слышались голоса людей. И тем обидней было тонуть у самого берега.

Второй раз я вынырнул немного ближе к обломку скалы, на котором они сидели, и теперь совсем близко увидел туфлю парня, черную, лоснящуюся, крепко затянутую шнурком.

Я даже разглядел металлический наконечник на шнурке. Я вспомнил, что такие наконечники на моих ботинках часто почему-то терялись, и концы шнурков делались пушистыми, как кисточки, и их трудно было продеть в дырочки на ботинках, и я ходил с развязанными шнурками, и меня за это ругали. Вспоминая об этом, я еще больше пожалел себя.

В последний раз погружаясь в воду, я вдруг заметил, что лицо парня повернулось в мою сторону и что-то такое мелькнуло на нем, как будто он с трудом припоминает меня.

«Это я, я! – хотелось крикнуть мне. – Я проплывал мимо вас, вы должны меня вспомнить!» Я даже постарался сделать постное лицо; я боялся, что волнение и страх так исказили его, что парень меня не узнает. Но он меня узнал, и тонуть стало как-то спокойней, и я уже не сопротивлялся воде, которая сомкнулась надо мной.

Что-то схватило меня и швырнуло на берег. Как только я упал на прибрежную гальку, я очнулся и понял, что парень меня все-таки спас. От радости и от тепла, постепенно разливавшегося по телу, хотелось тихо и благодарно скулить. Но я не только не благодарил, но молча и неподвижно лежал с закрытыми глазами. Я был уверен, что мое спасение не стоит его намокшей одежды, и старался оправдаться серьезностью своего положения.

– Надо сделать искусственное дыхание, – раздался голос девушки надо мной.

– Сам очухается, – ответил парень, и я услышал, как хлопнула вода в его туфле.

Что такое искусственное дыхание, я знал и поэтому сейчас же затаил дыхание. Но тут что-то подступило к горлу, и изо рта у меня полилась вода. Я поневоле открыл глаза и увидел лицо девушки, склоненное надо мной. Она стояла на коленях и, хлопая жесткими, выгоревшими ресницами, глядела на меня жалостливо и нежно. Потом она положила руку мне на лоб, рука была теплой и приятной. Я старался не шевелиться, чтобы не спугнуть ее ладонь.

– Трави, трави, – сказал парень, оборачиваясь ко мне и снимая рубашку.

Рубашка потемнела, но у самого ворота была белой, как и раньше: туда вода не доставала. Когда он заговорил, я понял, что расплаты за причиненный ущерб не будет. Я сосредоточился и «стравил»: было приятно, что у меня в животе столько воды. Ведь это означало, что я все-таки по-настоящему тонул.

– Будешь теперь заплывать? – спросил у меня парень, с силой выкручивая снятую рубашку.

Он теперь разделся и стоял в трусах. Ладный и крепкий, он и раздетый казался нарядным.

– Не буду, – охотно ответил я. Мне хотелось ему угодить.

– Напрасно, – сказал парень и еще туже закрутил рубашку.

Я решил, что это необычный взрослый и действовать надо необычно.

Я встал и, шатаясь, пошел к морю, легко доплыл до своего островка и легко поплыл обратно. Море возвращало силу, отнятую страхом. Парень стоял на берегу и улыбался мне, и я плыл на улыбку, как на спасательный круг. Девушка тоже улыбалась, поглядывая на него, и видно было, что она гордится им. Когда я вылез из воды, они медленно шли вдоль берега, и девушка держала в руках свою ненужную, наконец закрытую книгу. Я лег на горячую гальку, стараясь плотнее прижиматься к ней, и чувствовал, как в меня входит крепкое, сухое тепло разогретых камней.

Так он и ушел навсегда со своей девушкой, ушел, мимоходом вернув мне жизнь.

Детский сад

Он был расположен на нашей улице совсем недалеко от нашего дома. Первое время, когда я скучал по дому, я подходил к решетчатым воротам и смотрел на темно-кирпичный двухэтажный дом с балкончиками на втором этаже. Было приятно убедиться, что он стоит на месте.

Обычно на балконе сидела тетя и, покуривая папиросу, переговаривалась через улицу с соседями – учила их жить.

Сначала ходить туда было неохота. Хотел избавиться, но не знал как. Однажды мимо нашего дома, весело провывая сиреной, промчалась пожарка. «Детский сад горит!» – закричал я и бросился к окну. Все рассмеялись. Не понимал почему. Потом оказалось, что пожар совсем в другом месте.

Но с годами, как говорится, я к нему привык и в конце концов полюбил. Это было старенькое одноэтажное здание, облепленное со всех сторон флигельками, похожими на избушки из детских сказок. Наверное, в нем было тесно, но мы тогда этого не замечали.

Посреди двора был прорыт большой котлован. Мы знали, что здесь будет новое здание детского сада. Но строили в те годы слишком медленно, а мы росли слишком быстро, и было ясно, что не успеем пожить в новом здании. Но это нас не огорчало, пользовались тем, что было.

Бросали негашеную известь в канаву с водой. Булькало и шипело. Шел дым. Запах индустриализации щипал ноздри.

Однажды кто-то бросил в канаву котенка. Помню его мордочку, судорожно вытянутую над водой, и огромные замученные глаза. Такие глаза потом, взрослым, я встречал у актрис и у женщин, во что бы то ни стало решивших считать себя несчастными.

В этой же канаве мы запускали бумажные кораблики с бумажными парусами. Кораблики неподвижно стояли на воде. Внезапно, уловив движение воздуха, быстро пересекали канаву.

Мы не придавали игре большего значения, чем она стоила. Бумажные кораблики были бумажными корабликами, и ничего больше. Это потому, что рядом было настоящее море и по нему ходили настоящие корабли.

Лесик был бледный, застенчивый мальчик. Обычно он молча стоял рядом с нами, не принимая участия в наших играх.

Однажды он вынул из кармана сережку и, краснея от стыда, протянул ее мне.

– Кораблик, – сказал он, стараясь понравиться.

Я понял, что он ничего не понимает. Я спрятал сережку и постарался отвлечь его великолепным каскадом остроумных выдумок. Лесик порозовел от удовольствия. Я сделал королевский жест и подарил ему свой кораблик. Показал, как дуть в паруса, и предупредил ребят, чтобы его не трогали.

Я ему хотел еще подарить морскую пуговицу с якорем, но он уже вошел в азарт, и я решил, что сейчас правильной будет не отрывать его от коллектива.

Почему-то я знал, что надо делать с сережкой. На углу рядом с детским садом стоял старик, с лицом небритым и морщинистым, как старая кора. Под стеклом лотка, как рыбы в аквариуме, горели малиновые леденцы. Старик продавал леденцы. Возможно, это был последний частник на нашей земле.

Мы с товарищем, выбрав удобный момент, пролезли в пролом ограды и побежали к этому лотошнику.

Хочется попутно рассказать о моем товарище, о нашей дружбе, вероятно, довольно странной. Во всяком случае, нетипичной.

Он жил со мной в одном дворе, и мы вместе ходили в детский сад. Я сейчас не называю его имени, потому что мне не хочется подрывать его авторитет.

Дело в том, что он теперь стал прокурором. Но я тогда этого не знал и сейчас со стыдом признаюсь, что я в те годы над ним тиранствовал.

Вообще-то, мне кажется, все нормальные дети так или иначе проходят, можно сказать, тираническую стадию развития. У одних она проявляется по отношению к животным, у других – к родителям. А у меня по отношению к товарищу. Я думаю, что настоящие, взрослые тираны – это те, кто в детстве не успел побыть хоть каким-нибудь тиранчиком.

Дело не ограничивалось тем, что, когда его родителей, а главное, бабки не было дома, я не вылезал из сахарницы. Но главное – халва.

Отец моего друга работал одно время на каком-то сказочном предприятии, где готовили халву. У нас говорят: кто варит мед, хоть палец, да облизнет. В доме бывала халва.

Она стояла на буфете. Она высилась над тарелкой как горная вершина, или, точнее, Вершина Блаженства, прикрытая, как облаком, белоснежной салфеткой. Ровная, гладкая стена с одной стороны, крутые спуски, опасные трещины и сладостные осыпи – с другой. Я вонзал в нее вилку, как альпеншток. Я с хрустом отваливал великолепные куски, попутно выколупливая ядрышки ореха, как геолог ценные породы.

Но пойдем дальше. Выкладываться, так уж до конца. Страшно признаться, но я его вынуждал воровать деньги у отца. Это бывало редко, но бывало. Конечно, деньги не ахти какие, но на леденцы хватало. Бедняга пытался остаться на стезе добродетели, но я с какой-то сатанинской настойчивостью загонял его в такой угол, откуда только один выход: или деньги на бочку, или клеймо маменькиного сыночка.

Возможно, именно в те годы я заронил в его душу прокурорскую мечту о вечной справедливости и правопорядке. И все-таки я его очень любил.

После работы родители часто ходили с ним гулять. Такой постыдно нарядный, тщательно промытый симпатяга между сияющими родителями.

О, с какой ревностью и даже ненавистью я следил за ними, чувствуя, что меня обкрадывают! Каналья все понимал, но делал вид, что его силком тащат, а он ни при чем. Но я-то видел, как ноги его пригарцовывали от радости.

Случалось, что мы ссорились. Я думаю, что эти дни для него были вроде каникул. А я мучился. Я пускал в ход всю свою изобретательность, подсылал знакомых ребят и не успокаивался до тех пор, пока нас не примиряли.

Правда, внешне все выглядело так, как будто обе стороны пришли к взаимовыгодным соглашениям. Политика!

Однажды после особенно длительной ссоры нас примирили. Я, не сдержавшись, проявил такую буйную радость, что выглядел неприлично даже с точки зрения не особенно щепетильного детского кодекса.

Ради справедливости надо сказать, что я был сильнее и нередко защищал его от задиристых ребят с нашей улицы. Склонности разрешать уличные конфликты при помощи кулаков он и тогда не проявлял. Видно, как чертовски далеко он смотрел.

Можно сказать, напротив, он полагался не столько на руки, сколько на ноги. Бегал как олененок.

Это потому, что он был худеньким и нервным ребенком. Не знаю, отчего он был нервным (нельзя же сказать, что я его настолько задергал), но худеньким он был оттого, что его пичкали едой. И, как многие дети хорошо обеспеченных родителей, он рос в неодолимом отвращении к еде.

К тому же, в виде дополнительной нагрузки, он еще был единственным ребенком.

У меня все было проще. Я не был единственным ребенком и никогда не страдал отсутствием аппетита. Не помню, как насчет материнского молока, но всякую другую еду принимал с первобытной радостью.

Этим я не хочу сказать, что меня в отличие от товарища держали в черном теле или я вырос в сиротском приюте. Ничего подобного. Кусок хлеба с маслом в моей руке не был такой уж редкостью. Но все дело в том, какой слой масла на этом хлебе. Вот в чем штука.

Теперь я понимаю, что родители его отчасти терпели меня из-за моего аппетита.

Когда мой друг впадал в очередную гастрономическую хандру, меня призывали на помощь в качестве аппетитчика, или заразительного примера. Я охотно отзывался на такие призывы.

Обычно на стол подавала бабка, вынужденная примириться с моим присутствием под влиянием более могущественных сил. Легко представить, как она меня ненавидела, хотя бы по такому примеру. Однажды после легкого набега, когда мы, как обычно, через форточку выходили из его квартиры, она появилась во дворе. По нашим расчетам, она должна была появиться гораздо позже.

От волнения, уже наполовину высунувшись, я застрял в форточке. Можно сказать, что дух мой уже был на свободе, а сам я висел на форточке в состоянии какого-то дурацкого равновесия. Вот так вот, покачиваясь, я смотрел на нее сверху вниз, а она на меня снизу. Я чувствовал, что ее особенно раздражает, как проявление дополнительного нахальства, то, что я продолжаю висеть. Но вот она вышла из оцепенения, открыла дверь, и, как я вслепую ни отбивался ногами, та часть тела, которая оказалась недостаточно сухопарой, порядочно пострадала. В конце концов я вывалился, оставив у нее в руках кусок штанов, как ящерица оставляет хвост.

Но ей этого было мало. Только я дома рассказал довольно правдоподобную историю о том, как злая соседская собака напала на меня на улице, а мама приготовилась идти устраивать скандал, как появилась бабка, держа в руке проклятый трофей.

Она, конечно, все выложила, и мама, побледнев от гнева, уставив грозный перст на несчастный клочок, спросила:

– Откуда это?

В глубинах ее голоса клокотал призыв закипающей лавы.

– Не знаю, – сказал я.

Мне тогда крепко досталось, так как ко всем своим проделкам я еще лишил ее удовольствия поговорить с соседкой начистоту. У них были свои счета.

Так вот, эта самая бабка обычно подавала нам обед. Мне она накладывала не особенно густо, как бы для затравки основного мотора. Но я не давал себя провести и быстро съедал свою неполноценную порцию, пока мой друг ковырялся в какой-нибудь котлете, вяло шлепая губами, потрескивая накрахмаленным панцирем салфетки и поглядывая на меня тоскливыми глазами вырождающегося инфанта.

Бабка начинала нервничать и в сотый раз рассказывала жалкий анекдот про одного мальчика, который плохо ел, а потом заболел чахоткой. Внук вяло внимал, а дело двигалось медленно. У меня же, наоборот, чересчур успешно.

– Чай не на пожар? – спрашивала бабка ехидно.

– А я всегда так кушаю, – отвечал я неуязвимо.

Проглотив последний кусок, я глядел на нее с видом отличника, который первым решил задачу и еще хочет решить, была бы только потрудней. Чтобы оправдать истраченное, ей приходилось давать мне добавку. По лицу ее расплывались красные пятна, и она тихонько шипела внуку:

– Ешь, холера, ешь. Посмотри, как уплетает этот волчонок.

Внук смотрел мне в рот с какой-то бесплотной завистью и продолжал мямлить. Златые горы, которые обычно обещались на третье, не производили на него никакого впечатления.

Но стоило бабке выйти из комнаты на минуту, как он перебрасывал мне что-нибудь из своей тарелки. После этого он оживлялся и доедал все остальное довольно сносно. Сознание, что бабка обманута (не особенно поощрительное для будущего прокурора), вдохновляло его. А вдохновение, видно, необходимо и в еде.

Бабка чувствовала, что дело нечисто, но была рада, что он все-таки ест хоть так.

После такого обеда мне хотелось посидеть, поблагодарить, но бабка бесцеремонно выдворяла меня.

– Наелся, как бык, и не знает, как быть, – говорила она, – давай, давай.

Я не обижался, потому что никогда не был особенно высокого мнения о ее гостеприимстве. Удаляясь с видом маленького доктора, я говорил:

– Если что, позовите.

– Ладно, ладно, – бурчала бабка, выпуская меня за дверь, испытывая (я это чувствовал) неодолимую потребность дать мне подзатыльник.

Однако я сильно отвлекся – вернемся к леденцам.

Высочив из детского сада, мы с товарищем осторожно подходим к лотку. Под стеклом простирается заколдованное царство сладостей. Беззвучно кричат петухи, беззвучно лопочут попугаи, и подавно безмолвствуют рыбы. Большая лиса, льстиво изогнувшись, так и застыла рядом с явно пограничной собакой, бдительно наострившей уши.

В этом маленьком раю животные жили мирно. Никто никого не кусал, потому что все сами были сладкими.

Мы с товарищем иногда покупали леденцы, а чаще просто стояли возле лотка, глядя на все это богатство. Обычно старик, звали его дядя Месроп, не давал нам долго задерживаться.

– Проходи дальше, – говорил он и тарачил глаза. Может быть, ему было жалко, что мы бесплатно пожираем глазами его леденцы, а может быть, мы ему просто надоедали.

Зато когда он бывал под хмельком, мы устраивали ему концерт. Пели в основном две песни: «Цыпленок жареный» и «Там в саду при долине». Песни разбирали Месропа. Бог знает, что он вспоминал! Толстые щеки его багровели, глаза делались красными.

– Пропал, Месроп, пропал, – говорил он и сокрушенно бил себя ладонью по лбу.

Мне самому эти песни нравились. Особенно вторая. Потрясали слова: «И никто не узнает, где могилка моя». Я ее понимал почему-то не как песню бездомного сиротки, а как песню последнего мальчика на земле. Никого-никого почему-то не осталось на всем белом свете. И вот один-единственный мальчик сидит на крыше маленького домика, смотрит на заходящее солнце и поет: «И никто не узнает, где могилка моя». Ну кто же мог узнать, если все, все умерли, а он остался один. Ужасно тоскливо.

Дядя Месроп звучно сморкался и выдавал нам по петушку. Это были мои первые и, как я теперь понимаю, самые радостные гонорары. К сожалению, он бывал готов к восприятию нашего пения реже, чем хотелось бы.

И вот мы с товарищем стоим перед лотком. Я вынимаю из кармана сережку и протягиваю Месропу. Я знаю, что он сейчас спросит, и потому приготовился отвечать.

Осторожно ухватив толстыми пальцами золотую сережку с водянисто-прозрачным камушком внутри, дядя Месроп подносит ее к лицу и долго рассматривает.

– Где воровал? – спрашивает он, продолжая глядеть на сережку.

– Нашел, – говорю я. – Играл возле канавы и нашел.

– Дома украл? Халам-балам будет, – говорит он, не слушая меня. – Месропу хватит свой халам-балам.

– Нашел, – старался я пробиться к нему, – халам-балам не будет.

– Как не будет! – горячится он. – Украл – халам-балам будет. Мама-папа халам-балам! Милиция – большой халам-балам будет!

– Не будет милиция, не будет халам-балам, – говорю я. – Я нашел, нашел, а не украл.

Лицо у Месропа озабоченное. Он достает большой грязный платок и протирает сережку. Камушек сверкает, как капелька росы. Продолжая бурчать, он заворачивает сережку в платок и запирает ее узелком. Платок осторожно всовывает во внутренний карман.

И вот открывается лоток. Волосатая рука Месропа достает двух петушков, потом, немного помешкав, добавляет двух попугаев.

– Халам-балам будет, – говорит Месроп, не то сожалея, не то оправдываясь, и передает мне увесистый пучок леденцов.

Я делюсь с товарищем, мы бегом огибаем угол и вот уже снова в саду. Прячась за стволом старой шелковицы, жадно обсасываем леденцы. Привкус чего-то горелого придает им особую приятность. Леденцы делаются все тоньше и тоньше. Сначала малиновые, потом красные, потом розовые и прозрачные, с отчетливой, в маленьких ворсинках палочкой внутри. Когда леденцы кончились, мы тщательно обсосали палочки. Они тоже были вкусными. К сладости примешивался смолистый аромат сосны.

На следующий день я снова встречаюсь с Лесиком и осторожно наведываюсь, нет ли у него еще таких корабликов. Он радостно выворачивает карманы и подает мне всякую чепуху, явно не имеющую меновой стоимости.

Конечно, я понимал, что совершил проступок: взял у него взрослую вещь. Но угрызений совести почему-то не чувствовал. Я только боялся, как бы его родители не кинулись искать сережку.

И все-таки повсюду меня покарало.

Во дворе нашего сада стояло несколько старых, развесистых грушевых деревьев. Мы жадно следили за тем, как они цветут, медленно наливаются за лето и наконец поспевают в сентябре.

Иногда, прошелестев в листве, груша задумчиво падала на землю, усыпанную мягким песком. И тут только не зевай.

И вот однажды на моих глазах огромная краснобокая груша тупо шлепается на землю. Она покатилась к бачку с водой, где пила воду чистенькая девочка с ангельским личиком. Груша подкатилась к ее ногам, но девочка ничего не заметила. Что это было за мгновение! Волнение сдавило мне горло. Я был от груши довольно далеко. Сейчас девочка оторвется от кружки и увидит ее. На цыпочках, почти не дыша, я подбежал и схватил ее, свалившись у самых ног девочки. Она надменно взмахнула косичками и отстранилась, но, поняв, в чем дело, нахмурилась.

– Сейчас же отдай, – сказала она, – я ее первая заметила.

Бессилие лжи было очевидным. Я молчал, чувствуя, как развратная улыбка торжества раздвигает мне губы. Это была великолепная груша. Я такой еще не видел. Огромная, она не укладывалась на моей ладони, и я одной рукой прижимал ее к груди, а другой очищал от песчинок ее поврежденный от собственной тяжести, сочащийся бок. Сейчас мои зубы вонзятся в плод, и я буду есть, причмокивая от удовольствия и глядя на девочку наглыми невинными глазами.

Теперь я понимаю, что я был к ней не вполне равнодушен. А так как приударить за ней мне не позволяло мое мужское самолюбие, я возненавидел ее и, как сейчас вспоминаю, распространял о ней самые фантастические небылицы. Теперь я убедился, что многие взрослые так и поступают в подобных случаях.

И вот я стою перед девочкой и медлю, предвкушая иезуитское удовольствие есть на ее глазах грушу, смиренно доказывая при этом преимущества своих прав, одновременно не полностью отрицая и ее права. Теоретически, конечно. Но тут на беду подходит к нам воспитательница из группы девочки – тетя Вера.

– Что случилось, Леночка? – медовым голосом спросила она.

– Он взял мою грушу, тетя Вера, – ответила Леночка, ткнув пальцем в мою сторону. – Я пила воду и положила грушу на землю, – добавила она бесстыдно.

– Все врет она, – перебил я ее, чувствуя, что вообще-то я мог у нее отнять грушу и потому мне могут не поверить.

– Ну, хорошо, – сказала тетя Вера, – как поступают хорошие мальчики, когда они находят грушу?

Я затосковал. Я почувствовал непрочность всякого счастья. Я знал, что и плохие и хорошие мальчики съедают найденные груши, даже если они червивые. Но тетя Вера ждала какого-то другого ответа, который явно грозил потерей добычи. Поэтому я молчал.

Тогда тетя Вера обратилась к Леночке:

– Как поступают хорошие девочки, когда они находят грушу?

– Хорошие девочки отдают грушу тете Вере, – ласково сказала Леночка. Такая грубая лесть слегка смутила воспитательницу. Она решила поправить дело и сказала:

– А для чего они отдают грушу тете Вере?

– Чтобы тетя Вера ее скушала, – сказала Леночка, преданно глядя на воспитательницу.

– Нет, Леночка, – мягко поправила она свою любимицу и, уже обращаясь к обоим, добавила: – Груша пойдет на компот, чтобы всем досталось.

С этими словами тетя Вера отобрала у меня грушу и, не зная, куда ее положить, сунула в развилку ствола, как бы вернув ее настоящему хозяину.

Тетя Вера взяла Леночку за руку, и они удалились, мирно беседуя. Я чувствовал, что затылок Леночки показывает мне язык.

Убедившись, что грушу невозможно достать, я, как это ни странно, довольно быстро успокоился. Мысль, что моя груша пойдет на общий компот, доставляла взрослое удовольствие. Я почувствовал себя взрослым государственным человеком, одним из тех, кто кормит детей детского сада. Об этом нам часто напоминали. Я похаживал возле дерева, солидно заложив руки за спину, никого не подпуская слишком близко. Как бы между прочим, пояснял, что грушу нашел я и добровольно отдал на общий компот. Тогда я еще не знал, что лучший страж добродетели – вынужденная добродетель.

За обедом я не просил ни добавок, ни горбушек. Я просто понял, что горбушек не может хватить на всех. А если так, пусть они достаются другим. Во всяком случае, человек, отдавший свою грушу на общий компот, не станет лезть из кожи, чтобы заполучить какую-то там горбушку.

На третье подали компот. Я скромно ел его, аккуратно выкладывая косточки в тарелку, а не стараясь, как обычно, выдуть их кому-нибудь в лицо. Сам я о груше не напоминал, но мне казалось естественным, что другие о ней вспомнят во время компота. Это было бы вполне уместно. Однако все весело уплетали компот, и никто не вспоминал о моей груше. Неблагодарность человечества слегка уязвила меня, и я почувствовал себя совсем взрослым.

Я вспомнил свою дорогую тетю, которая называла своих племянников неблагодарными, тогда как она всю свою цветущую молодость загубила на нас. И хотя я загубил на детский сад не молодость, а только грушу, я теперь ее хорошо понимал. Я глядел на лица своих товарищей, и мне было приятно видеть вокруг себя столько неблагодарных детей.

Наверное, я выглядел необычно, потому что добрая тетя Поля, кормившая нас, сказала:

– Что-то ты у меня сегодня квелый. Не заболел ли? – Она тронула шершавой ладонью мой лоб, но я с мрачной усмешкой отстранил ее руку.

Но самое страшное ждало впереди. Выйдя из детского сада, я заметил тетю Веру, она стояла на тротуаре и разговаривала с каким-то парнем. В руках ее покачивалась сетка, на дне которой лежала моя груша. Моя груша! Я не мог не узнать ее красный бок. Но я не хотел верить своим глазам. Я обошел тетю Веру и посмотрел на грушу с другого бока. Конечно, моя. С этой стороны она была разбита, как тогда, только рана потемнела. Полосатая, как тигр, оса пыталась

присесть на нее. Ей не удавалось усесться, потому что тетя Вера все время покачивала сетку. Наконец сетка остановилась, и оса уселась на мою грушу. Я вздрогнул и посмотрел на тетю Веру. Наши взгляды встретились. Я почувствовал, что неудержимо краснею от стыда, боясь, что она догадается, что я все знаю.

Возможно, она просто так посмотрела, но я бросился бежать и бежал до самого дома.

Так окончилась моя вторая попытка стать взрослым. Во время первой я вымазал голову киселем и плотно зачесал волосы назад. Великолепная прическа держалась до вечера. Вечером голову мою нещадно намылили и, с хрустом раздирая волосы, вернули их в обычное состояние.

После груши я решил с этим делом не очень спешить, хотя все мои любимые герои, начиная от Иванушки-дурачка и до челюскинцев, были взрослыми людьми.

Возможно, я переусердствовал в этом решении, потому что теперь иногда попадаю впро-сак, как говорят, из-за детской доверчивости. Зато есть и свои преимущества. Так называемые душевные раны на мне быстро заживают, как на детях и собаках.

Мой первый школьный день

Я пошел в школу на год раньше, чем это было положено мне по возрасту, и дней на двадцать позже, чем это было положено по учебному календарю. Думаю, что в том и другом сказалось раненое честолюбие нашего семейства, требовавшее скорейшего возмездия за все неудачи нашей жизни.

Простейшей формой фамильного невезения была учеба моего старшего брата. Мой старший брат, обладая многими более скрытыми достоинствами, имел один откровенный недостаток – он плохо учился. Но сказать, что он плохо учился, – почти ничего не сказать. Он как-то сказочно, феерически плохо учился. Он попадал в каждую историю, которая случалась в школе и ее ближайших окрестностях.

С учителем немецкого языка, антифашистом, в свое время бежавшим из Германии, он (разумеется, не один) проделывал такие штучки, что тот иногда в ближайшем окружении признавался, что хочет бросить все и вернуться на родину, хотя целиком и полностью одобряет политику Советского Союза.

Примерно раз в неделю учителя с выражением суховатой скорби горевестников на лице входили в наш двор. И хотя в те времена с полдюжины ребят возраста моего брата учились в той же школе, завидев учителя, соседи по дому, а иногда даже и по улице с каким-то тайным сладострастием спешили окликнуть маму:

– Опять к тебе!

Так и вижу маму, бледную, выпрямляющуюся с примусной иголкой в руке, при помощи которой она пыталась укротить примус, этого маленького, вечно бунтующего коммунального хулиганчика. Вот она бросает иголку рядом с примусом, вытирает тряпкой руки и обреченно приглашает учителя в дом:

– Заходите...

Учитель проходит в дом, а соседи, притихшие было с тем, чтобы послушать, о чем будет говорить учитель, снова берутся за свои дела. Они всегда надеялись, что она как-нибудь забудется и начнет разговаривать с учителем во дворе. Но мама никогда не забывалась и никогда не доставляла им этого удовольствия. Зато в тех редких случаях, когда они ошибались, то есть окликали маму, а учителя просто проходили мимо нашего дома или входили во двор, но шли к родителям другого ученика, мама, обрушиваясь на их скоропалительные выводы, частично утешая свою душу, жаждущую возмездия.

Один из моих дядей, а именно дядя Самад, опустившийся юрист, который на базаре из столика в кофейне устроил себе конторку для писания прошений крестьянам и получавший за это свой гонорар в виде непосредственной выпивки, обычно к вечеру возвращался домой, пошатываясь.

Если он задерживался, бабушка посылала меня за угол, квартала за два от нашего дома. Там проходила улица, ведущая с базара, и дядя Самад обычно по ней возвращался домой. Бабушка меня посылала туда подежурить, с тем чтобы он не попал под машину, или вовремя перехватить его, если другие пьянчуги попытаются его куда-нибудь увлечь.

Кроме того, а может быть, главным образом потому, ей казалось приличней перед соседями, если дядюшка будет идти по нашей улице не один, а с племянником, что, вероятно, как-то скрадывало не столько его пьяное состояние, сколько облик одинокого, опустившегося человека.

В свое время бабушка изгоняла нескольких женщин, которых он приводил домой в качестве жен, по-видимому, находя их в обозримых из кофейни окрестностях базара. Может быть, в глубине души она чувствовала некоторую вину за суровую расправу с этими женщинами, хотя вслух никогда в этом не признавалась.

Должен сказать, что я с удовольствием шел встречать дядюшку, потому что он приносил мне в кармане горсть конфет, а то и просто деньги дарил, жалкие остатки своего дневного заработка. Разумеется, тогда они мне не казались жалкими.

Обычно, отдавая мне остатки своего дневного заработка, он говорил:

– Тот, кто был богатым и обнищал, еще тридцать лет чувствует себя богатым. Тот, кто был нищим и разбогател, еще тридцать лет чувствует себя нищим.

Правда, иногда он меня раздражал совершенно непонятным, бессмысленным бормотанием, в котором я пытался уловить смысл и никак не мог. Может, именно в те годы я неосознанно полюбил ясность и четкость образа мыслей, то дополнительное удовольствие, которое они доставляют сами по себе, независимо от своего содержания, более того, придают ей, мысли, какую-то аппетитность, как бы она ни была мала, облагораживают ее отсветом божественной гармонии и в конце концов делают ее частью всеобщего стремления человечества к ясности как единственной в конечном итоге задаче разума. Люди, не стремящиеся к ясности мышления, разумеется, в данных им скромных пределах или тем более стремящиеся к туманностям, могут рассматриваться как генетически поврежденные, увеличивающие мировой хаос вместо того, чтобы уменьшать его, что является прямой обязанностью каждого человека.

...И вот, значит, я шел встречать дядюшку в конце второго квартала от нашего дома. Как раз в этом месте находилась наша школа. Иногда я заставал своего дядюшку, стоящего перед школой, к счастью, в это время пустующей. Он стоял перед зданием школы и произносил небольшой реваншистский монолог, который ему казался диалогом со всем школьным начальством, а может быть, и с самой судьбой.

– Посмотрим, – говорил он, глядя в разинутые окна пустой школы, – что вы скажете, когда следующего придем... Живы будем, посмотрим...

– А-а, вот он, – добавлял он, увидев меня, – скажи, как называется французская крепость, оказавшая немцам героическое сопротивление в Первую мировую войну.

– Верден! – говорил я и добавлял: – Дядя, пойдем, бабушка ждет!

– Верден! – повторял дядя и бросал грозный взгляд на школу. – А теперь что скажете?

– Бабушка ждет, – повторял я и тянул его за руку.

– А как называется вторая французская крепость, оказавшая немцам героическое сопротивление? – спрашивал он у меня.

– Дуомон! – говорил я, потому что читал книгу под названием «Рассказы о мировой войне» и мог ее в то время пересказать довольно близко к тексту.

– Дуомон! – повторял дядюшка и пальцем грозил школе, как бы обещая повернуть против нее все пушки Вердена и Дуомона.

Его легкая фигура, его удлиненное лицо с артистической копной редких волос почему-то напоминали, особенно сейчас, облик Суворова.

Иногда, прежде чем уйти домой, он заставлял меня ответить еще на несколько вопросов или прочесть стихи Пушкина, или басни Крылова. Среди вопросов, на которые я давал четкие ответы, почему-то чаще всего повторялись два: «На какой остров сослали Наполеона?» и «Какой главный город в Абиссинии?»

Обычно после этого он успокаивался и мы шли домой. Иногда он слегка на меня опирался, и я чувствовал высушенную алкоголем легкую тяжесть его тела. Если я успевал перехватить его еще до того, как он вышел к школе, я его протаскивал мимо нее, не останавливаясь, и он только успевал ей бросить через плечо:

– Посмотрим!

Реваншистские надежды моего дядюшки основывались на двух фактах: во-первых, я уже довольно свободно читал, а во-вторых, я однажды ответил на задачу, которую задавал ребятам нашего двора шапочник Самуил, в то время проявлявший неукротимое стремление к самообразованию и просветительским парадоксам.

Однажды, собрав ребят нашего двора, тех, что были постарше, он задал им один из своих вопросов-ловушек:

– А теперь, ребята, повесьте уши на гвоздь внимания. Сколько будет, если от тысячи отнять девятьсот девяносто девять?

Воцарилась тишина, терпеливо ждущая явление нового Архимеда. Нас, самых маленьких, никто не принимал всерьез, и тем сладостней я, во всяком случае, старался найти ответ на его хитроумный вопрос.

Помню, по самому его голосу было ясно, что ответ должен быть самый неожиданный из всех возможных. Я знал, что тысяча – огромная цифра, хотя смутно представлял границу ее огромности. Кроме того, я был уверен, что девятьсот девяносто девять тоже цифра немалая, хотя, конечно, значительно уступающая тысяче.

Я представил себе обе цифры в виде войска. Я представил, что на несметное войско в тысячу человек напало другое войско числом в девятьсот девяносто девять человек, и хотя нападающих было несколько меньше, но они оказались более храбрыми. Кстати, поэтому-то они и напали.

Так чем же закончилась эта битва? Что осталось от войска в тысячу человек? Конечно, нападающие разгромили несметное войско, но не так, чтобы ничего не оставалось, а так, чтобы остался самый предел, когда меньше уже просто невозможно. Какой же это предел?

– Один, – проговорил я под напором ясновидящей силы вдохновения, глядя на последнего воина из несметной тысячи, с поникшей головой стоящего на поле боя.

Удивленные головы всех ребят повернулись в мою сторону.

– Правильно, – подтвердил мою догадку дядя Самуил и неожиданно добавил: – Ленинская голова...

Это был высший взлет моих математических способностей, но об этом тогда никто, разумеется, не мог догадаться.

Кстати, дядя Самуил был владельцем нескольких томов Большой Советской Энциклопедии, которую он читал почти каждый день, приходя с работы. Судя по характеру его чтения, читал он обычно, сидя на деревянных ступеньках своего крыльца, знания сами по себе, независимо от области их применения, давали ему ощущение удовольствия. По-видимому, научные факты радовали его, как некая могучая воспитывающая сила. Так, однажды он сообщил, листая энциклопедию, что, оказывается, Токио – самый большой город в мире.

Он об этом сказал с восхищением, и, конечно, нельзя было не восхититься тем, что Токио – самый большой город в мире. И хотя было ясно, что японский империализм ничем не заслужил иметь самый большой город в мире, по-видимому, японский пролетариат рано или поздно должен был догадаться, что нельзя оставлять в его руках этот рекордный по численности населения город, то есть совершить революцию. По-видимому, и дядя Самуил, и мы именно так понимали воспитательный смысл размеров Токио, иначе как мы могли этому радоваться? Это все равно что было бы радоваться большому количеству вражеских пушек или танков.

Между прочим, у дяди Самада время от времени происходили споры с дядей Самуилом. Споры эти всегда начинал мой дядя, но удивительно было, с каким терпением и охотой вступал в них дядя Самуил и как твердо, ни разу не дрогнув, он отстаивал свои позиции.

Накал спора обычно зависел от силы похмельного раздражения моего дядюшки. Так и вижу его, как он входит, пошатываясь, во двор, потом подымается по лестнице и где-то на первой лестничной площадке начинает, даже если Самуила не видно на крыльце:

– Нехорошо, Самуил, отречься от нации, – начинал дядюшка с горестных интонаций, постепенно переходя на гневное раздражение, – лучше быть падшей женщиной, чем отречься от нации!

Если дяди Самуила не было дома, дядя проходил к себе в комнату, бросив еще одну-две фразы в таком же духе. Но если дядя Самуил был дома, то не успевал мой дядя дойти

до верхней лестничной площадки, как тот появлялся в дверях своей квартиры и, отбросив марлеву занавеску от дверей, принимал бой.

– А я и не отрекаюсь, – спокойно отвечал он ему, – я родился караимом и караимом буду до смерти.

– Нет, дорогой мой, – отвечал дядя с брезгливой горечью, – ты отрекаешься от своей нации, потому что караимы – это крымские евреи, так называемые крымчаки.

– Неправда, – настаивал на своем дядя Самуил, – мы караимы – потомки древних хазар. Так сказано в Большой Советской Энциклопедии.

О том, что это сказано в Большой Советской Энциклопедии, он говорил с таким видом, как если бы, будь то же самое сказано в Малой Советской Энциклопедии, еще кое-как можно было подвергнуть сомнению, но если уж об этом говорится в Большой, то тут уж никто не должен сомневаться.

– Глупая голова! – продолжал дядя, останавливаясь на лестнице и стараясь приравливать свою речь к таинственному ритму опьянения. – Караимы – это остатки вавилонского пленения древних евреев.

– Во-первых, не остатки, а потомки, – спокойно отвечал дядя Самуил, – а во-вторых, не евреев, а хазаров...

– Ну, подумаешь, Самуил, признай, – иногда выглядывая из окна или стирая во дворе, вмешивалась в спор его жена, одесская еврейка. Но он и тут ни на шаг не сдавал своих позиций.

– У нас с вами ничего общего, – твердо отвечал он ей и как бы для полноты правдивой картины добавлял: – Кроме некоторых религиозных обрядов...

Он это добавлял с некоторым оттенком раздражения в голосе, по-видимому, имея в виду, что эта ничтожная общность обрядов будет еще долгое время смущать головы недалеких людей.

– Тогда зачем ты на меня женился, Самуил? – спрашивала жена его с выражением какой-то дурацкой тревожности в голосе.

– По глупой молодости, – отвечал дядя Самуил, стараясь отстранить ее от спора.

Интересно, что иногда, когда он начинал ссылаться на Большую Советскую Энциклопедию, спор принимал совершенно неожиданный для меня оборот.

– Энциклопедия, – иронически повторял дядюшка, – а что Ленин про нэп говорил, в энциклопедии не сказано?

– Новая экономическая политика, – твердо разъяснял дядя Самуил, но и после его разъяснения эти слова оставались непонятными. А то, что случалось после его слов, не только не вносило никакой ясности, но окончательно запутывало все.

Дело в том, что, как только раздавался голос дядюшки, вступившего в спор с Самуилом, бабушка в сопровождении моего сумасшедшего дяди Коли появлялась на лестничной площадке. Вид дяди Коли говорил, с одной стороны, о желании мирно уладить спор, а с другой стороны – о готовности в случае необходимости прервать его силой. Все-таки сам он склонялся мирно уладить этот спор, разумеется, не имея даже самого отдаленного представления о его содержании. С этой целью он, обращаясь к дяде, говорил, дескать, выпил, дескать, расшумелся, ну и хватит, надо дать людям отдохнуть. Бабушка тоже увещевала дядю; стыдила его и всячески уговаривала его войти в дом. Но он ни на дядю Колю, ни на бабушку ни малейшего внимания не обращал, не удостоивал их даже взгляда, а только иногда отмахивался.

Но как только он заворачивал в сторону нэпа, бабушка мгновенно преображалась и приказывала ему тут же замолчать, разумеется, он от этого не только не умолкал, а как бы еще больше взвизывался.

Тут бабушка прикрикивала на дядю Колю в том смысле, что он не для того сюда приведен, чтобы слушать спор, а для того, чтобы принимать энергичные мужские меры.

Но дядя Коля в таких случаях никогда не мог сразу преобразиться решительным образом, ведь он не понимал, что дядя перешел на нэп, он думал, что идет все еще обыкновенная пьяная болтовня. Но тут, видя, что бабушка требует от него решительных мер, а поведение дяди внешне никак не изменилось, он приходил в большое волнение и уже нарочно раздражал себя, чтобы перейти к решительным мерам. И тут любое действие дяди Самада воспринималось им с каким-то наигранным преувеличением. Так, например, обыкновенную отмашку рукой, мол, отстаньте, он выдавал за попытку дяди ударить бабушку или его и тут же, возбудив себя, легко переходил к карательным мерам. Он его обхватывал руками, подымал и уносил в его комнату.

– Всерьез и надолго, надолго! Вот что сказал Ленин! – кричал бедный дядя, барахтаясь в могучих объятиях дяди Коли.

Как только наверху подымался этот в известной мере междоусобный шум, снизу раздавались в виде какого-то физиологического отклика сочувственные голоса. Это одновременно начинали галдеть жена дяди Самуила и Алихан, если он бывал свидетелем спора.

– Потомок хазар! – кричала на дядю Самуила его жена. – Знаем мы вас, керченских хазаров!

А дядя Алихан, в это время сидевший на своем стульчике у порога, выбалтывал какую-то совершенно несусветную чушь:

– Кафе-кондитерски мешайт?! – спрашивал он, размахивая руками и приходя во все большее и большее возбуждение и, как мне кажется, стараясь свой монолог произнести под прикрытием шума, идущего сверху. – Алихан – ататюрк?! Гиде Алихан – гиде ататюрк?! Гюзнак мешайт?! Шербет мешайт?! Сирут на голова – не мешайт?!

Среди этого шума дядя Самуил стоял спокойно со вздувшейся, как плащ полководца, марлевой занавеской за спиной и всем своим видом говорил: как ни шумите, как ни кричите, а я буду до конца отстаивать свое право считать себя караимом. Право, подтвержденное всеми красными томами Большой Советской Энциклопедии.

Интересно, что за этим скандалом из окон трехэтажного дома сумрачно следили старейшины огромного клана грузинских евреев, живших в соседнем дворе.

Эти старцы, чьи мощные бороды не могли скрыть нежного пастушеского румянца их лиц, были вывезены в наш город из центральной Грузии их более предприимчивыми потомками.

Гривастые и кудлатобородые, они следили за этим скандалом с выражением сумрачной обиды на лице, хотя понимали по-русски чуть больше, чем жители Древнего Вавилона. И все-таки я уверен, что они интуитивно чувствовали суть спора и, грустно следя за дядей Самадом, уносимым моим сумасшедшим дядюшкой, горько обижались на дядю Самуила.

Слегка шевельнувшись в окне, они обменивались между собой несколькими фразами и снова замирали, надолго сохранив на лице выражение стойкой обиды.

...Но мы отклонились от нашего повествования. Так или иначе, именно дядя Самуил во время одного из своих просветительских опытов выявил мою якобы математическую смекалку, а читать я научился сам. Ко времени, о котором я рассказываю, я уже прочел с дюжину книг, начав сразу с «Гадкого утенка» и «Рассказов о мировой войне». Это была самая толстая и самая интересная из прочитанных мною книг.

Именно по этим причинам я был выделен в нашем вечно взбудораженном, но, в сущности, неопасном фамильном роде, как пчелка, готовая приносить в дом чернильный мед школьных премудростей.

И вот в начале учебного года, помешкав примерно дней двадцать, меня бросили в бой. То, что за это взяли с некоторым опозданием, могло быть следствием слабых, впрочем, никем и не обещанных надежд, что в новом учебном году брат мой наконец возьмется за учебу.

В тот прекрасный сентябрьский день мы с мамой бодро направились в школу. Мы вошли во двор, поднялись по каменной лестнице на обширную веранду с каменными колоннами и

скамьями вдоль стены. Дверь из веранды вела в канцелярию, а из канцелярии – в кабинет директора. Одно из окон директорского кабинета выходило на веранду, так что директор во время перемены мог следить за учителями, гулявшими по веранде. Из своего окна он также мог видеть весь школьный двор и часть улицы, прилегающей к школе.

Именно из окна своего кабинета он однажды заметил маму, идущую на базар, и не поленился выскочить из кабинета, остановить ее и подойти к воротам школы. Узнав, что она идет на базар за продуктами, он выразил крайнее удивление, что она покупает какие-то там продукты, хотя в ее положении было бы гораздо проще купить пару хороших кирпичей и крепкую веревку. Когда мама спросила его, почему она должна покупать вместо продуктов пару кирпичей и веревку, он ей прямо сказал:

– Привяжись вместе с сыном и прыгай с конца причала!

При этом, по словам мамы, он заклокотал горлом, довольно натурально изобразив тот надежный булькающий звук, который послужит залогом нормальной педагогической работы в школе.

Об этом случае мама, когда у нее бывало хорошее настроение, много раз рассказывала дома. Особенно смешно было то, что, по ее словам, он после этой встречи много раз видел ее, стоя на веранде, а то и прямо из окна своего директорского кабинета, но уже больше не спускался к ней, хотя знаками давал ей знать, что предложение приобрести веревку и два кирпича все еще остается в силе.

И уже совсем смешным нам, детям, казалось то, что она, рассказывая об этом, пыталась восстановить его ужасный акцент, с которым он говорил по-русски. А так как мама сама говорила по-русски с ужасным абхазским акцентом, над которым мы довольно часто потешались, и теперь, рассказывая о смешном выговоре директора, исходила из своего выговора как правильного, тем самым вдвойне искажая достаточно искаженный язык директора, все это получалось довольно весело. Дополнительную порцию юмора мы получали уже в процессе смеха, кивая на брата, который смеялся вместе с нами над всей этой историей, как бы забыв, а может, и в самом деле забыв за путаницей обстоятельств, что он сам и есть первопричина всего этого.

Вся эта история имела еще одну забавную грань, о которой я тогда не подозревал. Дело в том, что, оказывается, ко всем своим странностям директор школы еще и преподавал русский язык, о чем я узнал где-то в пятом или шестом классе, когда он появился у нас и, стараясь вдолбить нам правила русской грамматики, года два писал их на доске в зарифмованном виде.

Но тогда я обо всем этом не знал, хотя, конечно, видел директора и знал, что у него смешная внешность и смешное имя Акакий Македонович. Конечно, мне имя могло казаться смешным, потому что я уже воспринимал его как смешного человека, хотя бы из-за маминого рассказа. Но он и в самом деле был смешной человек, и внешность у него была смешная. Он был высокого роста, имел мягкие покатые плечи, а главное, на его бледном лбу лежал совершенно детский, ну прямо как у меня, оваловидный чубчик. Когда я его впервые увидел с этим чубчиком, я был как громом поражен. Это было все равно, что увидеть взрослого человека в коротких штанишках. И потом уже, когда я поступил в школу, я думал, что он долго не продержится со своим чубчиком, что рано или поздно его вызовут в гороно и заставят зачесать куда-нибудь волосы – или вбок, или наверх – как носили взрослые в те времена, а так, с детским чубчиком, не позволят.

А вот оказалось, что позволили. Он так и ходил с этим чубчиком, и никто ему ничего не говорил, а только чубчик сам редел и редел, и в конце концов вывелся, и вопрос сам по себе отпал, если, конечно, он вообще возникал где-нибудь в недрах гороно. Донеси он его до нашего времени, когда взрослые, как древние римляне, начали снова носить эти оваловидные чубчики, можно было бы подумать, что он все предвидел, но чубчик его постепенно вывелся сам между двумя эпохами, так что только в нашей памяти он все еще ходит с этим чубчиком стареющего дитяти.

Но оставим в покое чубчик директора. Я думаю, что он был человеком странным помимо своей детской прически. Помнится, уже потом, во время моей учебы, у него долго болела жена, а потом умерла. Когда педагоги стали обращаться к нему с выражением соболезнования, он им нравоучительно отвечал: «Гнилой зуб лучше всего вырвать...»

Так что выражающие сострадание несколько смущались, не вполне понимая смысл его образа. На самом деле он очень любил свою жену и хотел сказать, что, мол, бедняжка отстрадалась, но уж такой он был недотепистый. Впрочем, возможно, он находил утешение, стараясь усмотреть в смерти жены нечто разумное, рациональное, раз уж она не могла выздороветь.

И вот к этому-то директору мы с мамой и пришли. Мы вошли в канцелярию, но дальше нас не пустили. Маленький человек, весь красный, с красными глазами, с выражением лица, какое бывает у измотанных драками, но, однако, всегда готовых к новым дракам петухов, оттеснил нас от директорской двери и постепенно вывел на веранду. Это был завуч.

– Одного не хватит? – говорил он маме, глядя на нее красными глазами измотанного, но готового драться петуха. – Второго привела?!

– Нет, этот совсем не такой, – отвечала мама, горестно усмехаясь с таким видом, словно завуч не может не знать о моих успехах, но пользуется поводом, чтобы придрасться. – Владимир Варламович тоже обещал позвонить.

– Ничего не знаю, – отвечал завуч и, показывая на скамью, добавил: – Там посидите. Надо будет – вызовем... Одного еле держим, уже другого привела, и тем более в середине года.

– Да, но Владимир Варламович...

– Ох? – вдруг вскрикнул он, словно наступил на колючку голой ногой. Он заметил в метрике мой недостаточный возраст. Этого мы больше всего боялись. – Это что? Это матрикул? – повторял завуч, возмущенно тыча пальцем в мою метрику.

– Владимир Варламович все знает, он должен директору позвонить, – утешала его мать, но завуч все никак не мог успокоиться.

– Ничего не знаю, – наконец сказал он и быстро покинул веранду.

Мы с мамой уселись на скамью и стали ждать. В самом деле Владимир Варламович, работник горно, бывший житель нашего двора, обещал маме позвонить в школу, что считалось достаточным для моего поступления.

Владимир Варламович, а для меня дядя Володя, занимал квартиру рядом с нашей. По-видимому, от бездетности он и жена его меня баловали, и я часто бывал у них дома. Мне нравилась его внушительная атлетическая фигура, а также когда он, разговаривая со взрослыми, переходил на могучее оперное похохатывание, означавшее смехотворность того или иного утверждения собеседника. Я тогда не знал, что это оперное похохатывание, и думал, что он его сам изобрел.

Так мы жили достаточно дружески и мирно, пока незадолго до их переезда на новую квартиру не случилось событие, заставившее меня сторониться наших соседей.

Однажды на улице я услышал затейливую песенку, зарифмовывающую начало таблицы умножения:

Одиножды один – приехал господин.

Одиножды два – пришла его жена.

Одиножды три – в комнату вошли.

И так дальше. Картина супружеской жизни, совершенно лишенная какого-либо чувственного содержания, двигалась согласно цифровому нарастанию к своему суровому, бессловесному завершению и на счете, кажется, десять должна была завершиться отъездом этого таинственного господина.

Придя домой, я несколько раз в ритме марша, и даже маршируя, пропел эту песенку, ничего не испытывая, кроме абстрактного восторга конструктивными возможностями человечества. Хотя восторг мой был именно конструктивным и я не испытывал ни малейшего удовольствия от этой картины, все-таки я, безусловно, понимал, что взрослые не так ее воспримут, что при них ее никак нельзя исполнять.

Именно поэтому, убедившись, что дома никого нет, я ходил по комнатам и громко повторял эти стихи, как бы убеждаясь в прочности всего сооружения.

К несчастью, увлекшись конструктивными возможностями человечества, я забыл, что наша квартира представляет из себя половину бывшей четырехкомнатной квартиры, теперь разделенной забитыми, но все еще хорошо пропускающими звук дверьми. Много раз повторяя стихи и маршируя под их ритм, я полностью исчерпал к ним любопытство, так и не заподозрив, что за дверьми педагогическая пара слушает меня и корчится от смеха. Несколько дней после этого случая, встречаясь с супружеской парой, я чувствовал, что они владеют какой-то моей тайной, что эта тайна унизительна и постыдна и что он, дядя Володя, порывается мне рассказать о том, что он знает, а жена его останавливает.

Все это сопровождалось подмигиванием, поощрительными кивками и густым оперным похихатыванием. И все это мне страшно не нравилось, я как-то чувствовал, что все это грозит каким-то разоблачением, а каким – я не знал. Интересно, что, перебирая в уме все возможности постыдного разоблачения, я целиком выпустил из виду эти стишки. Конструктивный восторг, не поддержанный живостью поэзии, очень быстро себя исчерпал. На десять оборотов арифметического ключа супружеская пара отвечала десятью механическими движениями. Это было как заводная игрушка, а стадию интереса к заводным игрушкам я все-таки к тому времени прошел. Именно поэтому я совершенно забыл, что они могли подслушать мою песню, когда я ее громко пел, маршируя по комнатам.

И все-таки дядя Володя ухитрился однажды, выбрав удобное мгновение, наклониться ко мне и спросить:

– Что же «одиножды четыре»? Все помню, только это... ха, ха, ха, забыл!

Я вздрогнул от его могучего хохота и отпрянул. Волна стыда плеснула в лицо, как горячий воздух из внезапно распахнутой печки. Я прошел мимо него в ужасе. Я сразу вспомнил, что пел эту песенку у нас в квартире и пел ее очень громко. В то же время какое-то инстинктивное чувство самосохранения выдавило на моем лице (я это чувствовал) выражение идиотской невинности.

С тех пор каждый раз, когда он начинал намекать или шутить по этому поводу, а намекал он почти при каждой встрече до самого своего отъезда, мое лицо само принимало (уже одобренное сознанием) выражение идиотской невинности. Это выражение нужно было расшифровать так: может быть, я что-нибудь такое и пел, хотя сейчас и не помню, но я и тогда не знал и сейчас не знаю, что это означало.

Между тем я прекрасно все понимал, то есть испытывал невероятной силы стыд от того, что он слышал эту песню. Ужас охватывал меня, когда я вспоминал свою идиотскую громкость и мысленно представлял, как за тонкой перегородкой забитой (и, к сожалению, забытой) двери супруги корчатся от смеха. Мне даже вспомнилось, что я вроде бы слышал тогда в соседней квартире какие-то подозрительные шорохи, но не придавал им значения.

Сложность моего теперешнего положения состояла в том, что, с одной стороны, мне хотелось крикнуть ему: «Ну сколько можно намекать и портить человеку настроение, отстаньте от меня!» А с другой стороны, я никак не мог показать, что меня все это очень волнует, ведь я, выдавив на своем лице выражение идиотской невинности, дал знать, что ни за что не отвечаю и ничего не понимаю по причине своей тупости, по крайней мере, в этом вопросе.

Я стал задумываться над таинственной природой стыда.

Почему мое пение само по себе не внушало мне никакого стыда, а когда я узнал, что его слышали взрослые соседи, оно стало внушать стыд, хотя в нем ничего не изменилось. Почему?..

По-видимому, имелось в виду, что дети не должны знать об этом, а я своим пением нарушил это неписаное правило? Но я-то знал, что все дети в нашем окружении знают об этом, и взрослые не могли не знать, что, по крайней мере, некоторые дети знают об этом. Значит, правило состояло не в том, чтобы дети не знали об этом, а в том, чтобы опрятно делали вид, что этого не знают. В самом деле, до этого я довольно аккуратно делал вид, что этого не знаю, а тут как бы проговорился. Я вдруг поразился, как это я до сих пор удерживался и не выдавал себя.

Я еще не знал, что жизнь полна негласных правил, к которым человек легко привыкает. Я еще не знал, что миллионы взрослых людей могут делать одни и те же глупости, потому что это так принято. Но удивительно даже не то, что тысячи и миллионы взрослых людей, выполняя условия той или иной принятой игры, делают одни и те же глупости, удивительно то, что они, делая эти заведомые глупости, практически почти не спотыкаются, не проговариваются, хотя естественное чувство должно было заставить, хотя бы какое-то достаточно заметное количество людей, зазеваться и выйти за рамки принятой глупости.

А между тем наш жизнерадостный инспектор гороно не давал мне прохода. Чуть он встречал меня без жены, как сразу же спрашивал одно и то же:

– Так как же «одиножды четыре»?

– Забыл, – говорил я, если был приперт к стене нашего коридора или был пойман у выхода из уборной, или убежал, если была возможность, не забыв выдать на лице выражение идиотской невинности.

Кстати, в те годы, уже начиная принимать некоторые условия взрослых игр, я еще не понимал, что внутри этих условий могут быть те или иные исключения. Так, однажды, будучи с тетушкой в кино на вечернем сеансе, я вдруг увидел на экране целующихся мужчину и женщину. Никакого сомнения в том, что это любовный, а не родственный поцелуй, у меня не возникло.

– Поцеловались! Поцеловались! – заорал я на весь зал, обращая внимание зала на грубое нарушение условий игры, по которому любовный поцелуй должен быть скрыт от свидетелей. В ответ на мои возгласы зал разразился, как мне показалось, правильным хохотом в адрес нарушителей, но потом, увы, выяснилось, что люди смеялись надо мной.

Оказывается, хоть и существует правило, по которому любовный поцелуй должен проходить без свидетелей, но это правило делает исключение для произведений искусств. Я тогда этого не знал, как не знал и того, что в некоторых странах, например во Франции, это правило почти отменено и никто не прерывает поцелуя, даже если вдруг появляется свидетель.

А между тем дядя Володя, которого я теперь всеми возможными способами избегал, все-таки ухитрился как-то ловить меня один на один, чтобы в конце концов допытаться, какая картинка соответствует счету «одиножды четыре».

И вот в день отъезда на новую квартиру, когда все его вещи были погружены на грузовик и жители нашего двора прощались, подходили и целовались с инспектором и его женой, а я стоял, тайно ликуя, что он наконец уезжает и никто больше не будет меня допекать, и в то же время, суеверно боясь, что обязательно что-нибудь случится, если я выдам чем-нибудь свою радость, я старался делать вид, что и меня печалит их отъезд.

Когда подошла моя очередь прощаться с ним, я бросился в его объятия с немалой силой искренности и он, наклонившись, чтобы поцеловать меня, и в самом деле поцеловав в щеку, шепнул:

– В последний раз умоляю: «одиножды четыре»?

– «Свет потушили», – ответил я, тронутый не столько его упорством, сколько его отъездом.

– Точно! Ха! Ха! Ха! – пропел он, подымаясь в кузов и прощаясь, потряс всем рукой, каким-то образом показывая этой трясущейся рукой, что он не просто переезжает на другую квартиру, а подымается вверх по жизни.

* * *

Завуч ушел с моей метрикой, а мы с мамой остались ждать на веранде. Прошло, как мне показалось, немало времени, как вдруг завуч выскочил на веранду и криками стал прогонять продавщиц семечек, которые уселись перед школой на каменных перилах мосточка. Старушечки со своими мешочками неохотно встали и ушли, но по их походке было видно, что они далеко уходить не собираются. В самом деле, через некоторое время, когда прозвенел звонок на перемену, они снова пришли и стали продавать семечки ученикам.

Когда завуч, прогнав старушек, повернулся, чтобы войти в канцелярию, мама, привстав, обратила его внимание на себя.

– Не звонил, – сказал он бегло, не давая себя остановить, но, поравнявшись с дверью, внезапно остановился сам и повернул к нам лицо, на котором промелькнуло объяснение его внезапной остановки: одно дело, когда ты меня останавливаешь, и совсем другое дело, когда я сам по своей воле останавливаюсь.

– Откуда знаешь Владимира Варламовича? – внезапно спросил он.

– Как откуда? – горестно усмехнулась мать. – Шесть лет прожили рядом, как родственники... На его глазах вырос мой мальчик...

Это прозвучало как намек, что на глазах дяди Володи плохой мальчик не мог вырасти.

– Не знаю... Пока не звонил... Середина года, – сказал маленький завуч, мельком взглянув на меня с некоторым брезгливым недоверием к моим наследственным качествам.

Бормоча насчет середины года и того, что один уже учится, он вошел в канцелярию. Прозвенел звонок. Учителя стали входить в канцелярию и выходить оттуда. Некоторые из них прогуливались по веранде. Иногда я слышал обрывки их разговоров и удивлялся, что они совсем обычные, особенно у женщин. Учительницы говорили то же самое, что и женщины нашего двора: базар, стирка, дети.

Некоторые молодые учителя и учительницы стояли возле колонн, облокотившись на балюстраду веранды с таким видом, как будто их собираются фотографировать.

Я раскрыл книгу, которую принес с собой. Это был какой-то хрестоматийный учебник для второго или третьего класса с небольшими отрывками из классических рассказов и повестей. Я стал громко читать эти отрывки исключительно для того, чтобы обратить внимание учителей на беглость своего чтения.

Замысел был такой. Они обращают внимание на беглость моего чтения. Они интересуются, почему я читаю здесь на полукрытой веранде, а не в классе. Узнают, что я не только еще не учусь, но меня и не принимают в школу. Шумной делегацией входят к директору, и меня определяют в первый класс.

Надо сказать честно, что мы с матерью не обсуждали этого замысла. Он возник стихийно. Книгу я взял для того, чтобы в случае необходимости показать, как я хорошо читаю. Я думал, будет все просто. Я думал, директор спросит:

– А что он умеет?

И тут я небрежно раскрою книгу на любой странице и начну читать.

– А, молодец, – думал я, скажет он, – посадим его в первый класс...

Но после того как нас не пустили к директору и наступили довольно нудные минуты ожидания, я от скуки раскрыл ее и стал перечитывать знакомые тексты. А когда прозвенел звонок и на веранде появилось много молодых и доброжелательных, как мне показалось, учителей, я

решил – дай я им почитаю вслух – не может быть, чтобы они не заметили, как я хорошо читаю. Вот я и начал читать вслух, краем глаза заметив, что мама меня одобряет.

Я это заметил по усилившемуся выражению горестности на ее лице. Это выражение у нее появлялось, когда она говорила про отца или входила в какое-нибудь официальное учреждение, ну, там справку какую-нибудь получить, что-то заверить или что-то подписать.

Сейчас усилившееся выражение горестности должно было служить траурным фоном блеску моего чтения. Выражение это не было в прямом смысле лицемерным, но это было, как я теперь понимаю, вхождением в привычную колею, рефлекторным сжатием лицевых мускулов, оставляющих на лице гладкую пустыню безнадежности, невольным дорисовыванием пейзажа этой пустыни.

* * *

Вообще, такого рода доигрывание свойственно людям. Помню, однажды я оказался свидетелем, а потом и участником одной сцены. Сначала я за этой сценой наблюдал с острой смесью любопытства к чужой жизни и готовности в любой миг бежать от опасных неожиданностей, заключенных в ней, подобно заблудшей собачонке, которая вдруг с интересом останавливается и смотрит, смотрит, ни на мгновение не забывая, что в этих чужих местах опасность надо ожидать в любой миг и с любой стороны.

Вместе со многими ребятами моего возраста, женщинами и мужчинами я наблюдал, стоя на одной стороне тротуара, за пьяным дебоширом, который на другой стороне тротуара бушевал возле своего дома. И вот мы стоим на достаточно безопасном расстоянии и следим за ним.

У нас, у свидетелей этой сцены, какая-то двойственная роль, и я это смутно чувствую. С одной стороны, мы его безусловно осуждаем, что ясно из отдельных слов и восклицаний, которые издают женщины. С другой стороны, наша реальная сила – мужчины – в основном враждебно молчат, по-видимому, интуитивно чувствуя, что, как только они начнут высказывать осуждающие слова, от них немедленно и вполне справедливо потребуют действий, а действовать, то есть связываться с пьяным, они не хотели.

Пьяный время от времени мощным ударом ноги проламывал забор своего дома, ругал своих домочадцев всеми непотребными словами, отчасти эти непотребные слова обрушивались на редких прохожих и на нас, глазающую толпу.

Время от времени он прерывал поток ругани, чтобы достать из внутреннего кармана пиджака поллитровку хлебной водки, сделать из нее несколько глотков, вертикально вверх подняв бутылку над головой, с какой-то уважительной трезвостью заткнуть ее пробкой, вложить в карман и снова – эх! – с бешеной силой, словно влив в усталый мотор горючее, начать выламывать ударами ноги штакетник своего забора, захлебываясь всеми вариантами русского мата.

Двойственность нашей роли заключалась в том, что мы, с одной стороны, как я говорил, осуждали его, с другой стороны, служили достаточно внимательными зрителями его выкрутасов, и в этом качестве мы безусловно подхлестывали его, как бы говоря: «А ну, давай! А ну, еще что-нибудь разэдакое, а то это ты уже показывал...»

Вот что мы ему говорили своими присосавшимися взглядами, а главное, каким-то терпеливым ожиданием, что самое интересное, самое неслыханное еще предстоит.

В конце концов, видимо, ему это надоело, и он, схватив камень, свирепо замахнулся на нас, и тут вся толпа ахнула, и некоторые, в том числе и я, отбежали на еще большее расстояние. Женские крики, раздававшиеся при этом, можно было понять так, что вот, наконец, он сделал то ужасное, что все мы от него ожидали, что это ужасное будет повернуто против нас.

Некоторые мужчины, наиболее стойкие, остались на месте, и по комической неестественности позы каждого из них было ясно, что они замерли в тех позах, в каких застал их пьяный,

замахнувшийся на них камнем. Вернее, в тех позах, в каких они решили дальше не отпрядывать, осознав это свое решение уже во время замаха.

Они как бы говорили своими позами: вот мы остались стоять так, как стояли, мы ничего не делаем, чтобы укрыться от камня, а также ничего не делаем, чтобы этот камень в нас попал. Как видишь, у нас все честно. Но если уж теперь камень, брошенный тобой, попадет в кого-нибудь из нас, тогда не серчай, тогда мы с тобой справимся.

Но оказалось, что замах этот был ложным. Замахнувшись, он остановил руку за спиной, несколько секунд любуясь всеобщим переполохом, то есть нами, отбежавшими, а также мужчинами, которые своими замершими позами выражали крайнюю степень истощенности своего миролюбия.

И тут уж, увидев все это, он никак не мог удержаться, чтобы не кинуть свой камень. Снова раздались женские визги, камень упал возле меня, тяжело отщелкнулся от булыжной мостовой и ударил меня в голову.

Он ударил меня по голове, по-видимому, только-только возвращаясь с высшей точки своего отскока, то есть успев потерять алкогольную ярость метателя и не успев набрать безответную ярость притяжения земли. Во всяком случае, несмотря на то что это был камень величиной с хороший бильярдный шар, он ударил меня по голове не очень больно. Во всяком случае, я с удивлением обнаружил, что мне не очень больно, и тут же услышал страшный крик женщин и понял, что для них, посторонних наблюдателей, огромный булыжник, брошенный пьяным, которого они так дружно осуждали, именно ожидая от него чего-нибудь преступного, наконец совершил свое преступление, и мне теперь почему-то необходимо удовлетворить их драматические ожидания. В какую-то долю секунды все это повернулось в моей слегка сотрясенной тяжестью булыжника голове и я упал.

Мало того, что я упал, хотя совершенно никакой физической необходимости падать у меня не было, я упал с некоторой замедленностью, отчасти имитируя потерю сознания, а главное, подчиняясь чувству необходимости придать всей этой сцене некую ритмическую законченность, хотя никто меня об этом не просил.

– Убили мальчика! – услышал я возгласы женщин и, опять же подчиняясь чувству правдоподобия всей сцены, вернее, принятым представлениям (конечно, через кино) о правдоподобии, слегка поднял голову, что должно было означать похвальность предсмертного поведения, то есть не пренебрег последней попыткой вернуться к жизни.

Подняв голову, я успел увидеть все тех же стойких мужчин, так и не изменивших свою мужественную позу, но в то же время искоса поглядывающих в мою сторону, опять же не решаясь вступить за меня, поскольку камень все-таки упал достаточно далеко от них и от первоначального расположения всей группы.

А ведь позы их с самого начала выражали одну достаточно ясную мысль: вот только попади в нас, и тогда мы тебе покажем. А теперь получалось, что вроде бы он и переступил границы дозволенного, но, если быть до конца честным, он ведь и направил свой камень не в их сторону, а в мою, это явно. (На самом деле так оно и было. Я отбежал дальше всех и от этого стоял как бы в стороне, что, может быть, было замечено им и использовано.) Вот если бы, продолжали стойкие мужчины говорить своими косыми взглядами, он, направив камень в их сторону, просто случайно не попал, ну там, скажем, камень сорвался бы с его руки, тогда можно было бы усмотреть в его действиях попытку выступить против них, а сейчас вроде бы трудно было бы усмотреть в его действиях попытку изувечить именно кого-нибудь из них.

Их взоры, осторожно направленные на меня, выражали позднее сожаление по поводу того, что они с самого начала не обозначили более широкую площадь запретной зоны для его хулиганских выкрутасов, одновременно эти осторожные взоры одобряли мою попытку поднять голову, подразумевая, что я в дальнейшем, окончательно поднявшись, сведу на нет это непри-

ятное происшествие, и уж тогда они обязательно найдут способ защиты всеобщей, включающей даже таких случайных людей, как я, безопасности.

Все это было написано на их дурашливых лицах. И все-таки, даже поняв это все, я уже было собирался снова опустить голову на мостовую, подчиняясь более мощному, более заразительному стремлению женщин увидеть драму законченной, как вдруг я заметил, что пьяный, которому, видимо, окончательно надоели все эти тонкости, схватил увесистую доску сломанного забора и ринулся через улицу.

Я услышал дружный вопль женщин, меня словно подбросило этим воплем, и я дал стрелкача. Я бежал до самого дома с той быстротой и легкостью, которая иногда наяву удается детям и очень редко взрослым в самых счастливых снах.

Теперь, вспоминая этот случай, я думаю, что он с некоторой комической точностью повторил положение Европы тех времен, когда все пытались ублажить Гитлера, одновременно разжигая его своим политическим любопытством к его кровавым делишкам.

* * *

Одним словом, мы с мамой сидим на широкой школьной веранде, и я своим громким чтением с молчаливого одобрения мамы, которое я чувствую по усилению выражения горестности на ее лице, пытаюсь привлечь внимание учителей. Но учителя почему-то никакого внимания на нас не обращают.

Прозвенел звонок, учителя разошлись, и мы опять остались одни. Иногда завуч, выбегая из канцелярии, пронеслся мимо нас, и тогда я начинал громко читать, но он никакого внимания на меня не обращал, даже, как мне кажется, пробежал от этого несколько быстрее.

– Шесть лет рядом, как родственники прожили! – вздохнув, бросала ему вслед моя мама, но и на это он ничего не отвечал, а пробежал вниз куда-то. Иногда, возвращаясь, он, словно думая вслух, проговаривал:

– За старшего спасибо не говорит... Еще младшего привела...

Мама не успевала ему ответить, как он снова исчезал в канцелярии. Однажды он возвратился, слегка подгоняя впереди себя двух мальчиков пионерского возраста и приговаривая:

– Посмотрим, как там посмеетесь... Посмотрим...

– Эх, Владимир Варламович! – проговорила мама, сокрушенно вздохнув, когда он проходил мимо.

– А почему не позвонил, если такой близкий человек? – не выдержал завуч, на мгновение остановившись возле нас. Но тут оба мальчика почему-то фыркнули, видно, их распирали смех, и завуч, не дождавшись ответа мамы, втолкнул их в канцелярию и закрыл за собой дверь.

Мама не успела ничего сказать и на всякий случай по-абхазски пожелала ему столько язв в организме, сколько правды в том, что Владимир Варламович не позвонил.

Во время этого урока, пользуясь долгим отсутствием завуча, она мне рассказала притчу о возе сена. Суть ее заключалась в том, что, оказывается, мой отец был когда-то управляющим какого-то сказочного сада, и в том году отец этого завуча, державший в городе корову, попросил у моего отца накопить сена для своей коровы. Отец ему дал накопить сена, и тот впоследствии вывез из сада огромный воз сена, так и не заплатив отцу ни копейки. Почему-то считалось само собой разумеющимся, что деньги за воз сена он должен был заплатить не государству, которому принадлежал сад, а отцу. Притча эта, рассказанная сквозь зубы, с одинаковой силой была направлена и против завуча, и против отца. Мать считала, что отец слишком много времени проводит в кофейнях и слишком мало зарабатывает на семью.

Сейчас я думаю, что брат мой, может быть, держался в школе отчасти за счет этого воза сена, но ко времени моего поступления он использовал его до последней травинки, так что на меня ничего не осталось.

За время нашего ожидания мама несколько раз возвращалась к этому возу сена с затейливым пожеланием в духе наших деревенских заклятий, чтобы этот воз сена клоками повывлезал у него изо рта, раз он не помнит сделанное ему добро, словно отец завуча не корову кормил этим сеном, а собственного сына.

Надо сказать, что во время выходов завуча на веранду он оглядывался на директорское окно и посылал туда таинственные и даже раздраженные знаки, означавшие, что Эти все еще сидят и он ничего с Этими не может поделать.

Между прочим, именно мама, несмотря на непроходящее выражение горестности на ее лице, первая обратила внимание на юмор, заключенный в оглядках и недоуменных жестах, которые завуч украдкой бросал в окно директорского кабинета. Возможно, именно эти жесты и оглядки укрепили маму в мысли, что нам надо терпеливо ждать, пока ворота сами не откроются.

– Неужели хоть в уборную не захочет, – сказала она, удивляясь упорству, с которым директор отсиживался у себя в кабинете.

Только она это сказала, как директор вдруг выскочил из канцелярии и, слегка отвернув от нас голову, быстро пересек веранду и исчез на лестнице. Я едва успел поднять книгу и пустить ему вслед небольшой абзац хрестоматийного текста.

Не знаю, шел ли он в уборную или по каким-то другим делам, но теперь мы были начеку. Как только голова его высунулась из-за поворота лестницы, я затараторил дальше. Я хоть и читал, но краем глаза все-таки заметил, что он, проходя по веранде, слегка прикрыл ухо, обращенное в нашу сторону.

Внешне это выглядело как желание не то потерять его, не то почесать, но я-то понял, что это попытка отстраниться от моего чтения. Я почему-то не обиделся на эту попытку. Скорее всего потому и не обиделся, что в этой попытке отстраниться от моего чтения было признание его силы. Кроме признания силы моего чтения, в этом желании отстраниться было, по-видимому, и смутное проявление слабохарактерности директора.

Дети при встрече с незнакомыми людьми почти безошибочно определяют общий настрой того или иного человека. Так, увидев завуча, я сразу подумал: «Злой». Увидев свою будущую учительницу Александру Ивановну, я сразу подумал: «Добрая». Увидев директора, я почувствовал, что маме с ним справиться будет гораздо легче, чем с завучем, хотя ему-то никакого воза сена мы сроду не дарили.

Так оно и оказалось. Минуты через три вдруг выскочил завуч и, не говоря ни слова, жестами показал нам, что надо, и при этом как можно быстрее, входить к директору. Он посмотрел на маму с некоторой обидой, может быть, жалуясь на то, что ему всю жизнь приходится обрабатывать этот воз сена, и этим самым давая знать, что именно ему мы обязаны вызовом директора.

Мы прошли сквозь канцелярию и вошли в кабинет директора. Директор сидел за письменным столом и говорил по телефону. Он бросил на нас болезненный взгляд, и я вдруг услышал, что в трубке дребезжит веселый голос дяди Володи.

– Все-таки в середине года, – проговорил Акакий Македонович, глядя на меня и сквозь меня болезненными глазами. А я смотрю на его детскую челку на широком лбу, и мне как-то неловко, что он может догадаться, что я заметил нелепость его прически.

В трубке дребезжит веселый голос дяди Володи. Я чувствую, что если как следует напрячь слух, то можно разобрать слова. Я в самом деле напрягаю слух, и кажется, директор это замечает. Во всяком случае, он почему-то ковшиком левой ладони прикрывает чашечку трубки, откуда дребезжа выщелкивается голос инспектора.

– Да, но брат уже учится, – говорит директор и теперь, окинув меня болезненным взглядом, переводит его дальше, словно рассеянно припоминая еще один неприятный предмет, с которым ему предстоит иметь дело.

Оказывается, в углу директорского кабинета стоят те два мальчика, которых привел завуч. Стоя в углу кабинета, два румяных пионера медленно приподымали свои опущенные головы и, взглянув друг на друга, начинали корчиться от неудержимых приступов смеха. Иногда струйки этого смеха выбрызгивали в кабинет, как вода из колонки, когда сильный напор ее удерживаешь прижатой к отверстию крана ладонью.

Директор в такие мгновенья качал головой, дескать, смейтесь, посмотрим, кто будет смеяться последним. Одновременно с этим покачиванием головой он еще плотнее прикрыл ковшиком ладони отверстие трубки, откуда доносился голос инспектора, словно боялся, что брызги смеха и в самом деле долетят до инспектора.

Сконфуженные покачиванием директорской головы, пионеры смолкали и опускали головы, но я видел, как их щеки постепенно наливаются кровью, созревая для очередного взрыва смеха.

В трубке весело дребезжит голос дяди Володи. И чем веселее дребезжит голос инспектора, тем болезненнее вглядывается в меня директор, словно пытаюсь определить, каким количеством здоровья я ему обойдусь.

– Хорошо, но старшего тогда переведите, – вдруг говорит директор, как-то слегка заурчав и блудливо посмотрев в сторону мамы.

Выражение горестной безответности на лице у мамы принимает самую невиданную степень. Она даже слегка наклоняется вперед, словно пытаюсь услышать, неужели и дядя Володя, почти родственник, шесть лет проживший рядом с нашей квартирой, ответит согласием на это предательское предложение.

Но, видно, дядя Володя отвечает что-то другое, потому что директор перестает смотреть на маму блудливым взглядом, а смотрит, как бы говоря: ну, подумаешь, я что-то предложил, он что-то отверг, обыкновенный научный разговор.

Выражение горестной безответности на лице у мамы уменьшается, но все еще достаточно заметно. Сама некоторая назойливость его как бы содержит в себе и рецепт, как от него избавиться: вам надоело это выражение? Сделайте так, как я вас прошу, и вы его не увидите.

Вдруг лицо директора оживляется. Он вглядывается в меня с каким-то живым любопытством.

– Песенки поет, говорите, – переспрашивает он, и кровь ударяет мне в голову, – тогда, может, в музыкальную школу?

Выражение горестной безответности на лице моей мамы бдительно доходит до крайней степени и сопровождается саркастической полуулыбкой, означающей: они меня хотят провести какой-то музыкальной школой?! Вот уж не ожидала!

– Хорошо, – говорит наконец Акакий Македонович и кладет трубку. Выражение горестной безответности исчезает с лица моей матери и почти полностью переходит на лицо Акакия Македоновича. Я чувствую, что наша взяла. Тут ребята, стоявшие в углу кабинета, снова посмотрели друг на друга и фыркнули.

– Сквозь слезы родителей смеетесь, – говорит Акакий Македонович, небрежно махнув рукой в сторону ребят в том смысле, что их-то судьба ему вполне известна, просто ими сейчас некогда заниматься. – Песни поет, говорит, – повторяет директор с недоумением, – при чем тут песни...

– Нет, он читает хорошо, – тихо проговаривает мама с тем, чтобы, не разрушив победы, достигнутой при помощи инспектора, слегка подправить его, может быть, чисто механическую ошибку.

– Придется взять, – после глубокой задумчивости директор обращается к завучу, – старший половину печенки съел, теперь этого привели... К Александре Ивановне попробуем, – говорит наконец директор завучу.

– Да, больше некуда, – отвечает завуч и бодро выпроваживает нас из кабинета.

Мы выходим из кабинета директора и спускаемся вниз. Слегка подталкивая в спину, завуч ведет меня, очевидно, в один из флигельков, окружающих здание школы. Мама едва поспевает за нами.

– Ты иди домой, – говорит ей завуч, не глядя на нее. Но мама упрямо идет за нами.

Вдруг завуч перестал подталкивать меня в спину, весь сжался, присел, поднял камень и, так и не разогнувшись до конца, стал подкрадываться к бродячей собаке, которая, привстав на задние лапы, рылась в урне, стоявшей у глухой стены, с одной стороны отделявшей школьный двор от жилого дома.

Как и у всякого пацана такого возраста, у меня была повышенная любовь к животным, и, конечно, особенно к собакам. Поэтому я, замерев от волнения, следил за завучем. Я бы очень хотел спугнуть ее, но боялся, что он меня за это не отведет в класс.

Он довольно близко подкрался к собаке, но его подвел азарт. Вместо того чтобы кинуть камень, он решил подойти еще ближе, и, уже когда он был от нее шагах в десяти, она вдруг (умница! умница!) оторвала морду от урны и прямо посмотрела на него. Завуч довольно наивно спрятал руку с камнем за спину, но собака в одно мгновение бросилась к забору и быстро прошмыгнула в пролом.

Собака перебежала улицу и с противоположного тротуара, приподняв голову, продолжала смотреть в нашу сторону. Завуч пригрозил ей камнем, но она не изменила позы, как бы давая знать, что на эту сторону тротуара он никаких прав не имеет. Завуч опустил руку, камень выпал из его ладони, словно ладонь бессознательно разжалась из-за ненужности камня. Он оглянулся и, заметив маму, видимо, устыдился своего неуспеха.

– Ты еще не ушла? – сказал он, и мне показалось, что он жалеет, что выпустил камень.

– Я только до дверей, – сказала мама.

– Или ты, или я! – резко сказал завуч, все еще злой на собаку, и, быстро подойдя ко мне, слегка подтолкнул меня, чтобы я шел быстрее. Я убыстрил шаг и оглянулся. Мама стояла и смотрела на меня немного растерянно. Никакого страха или одиночества я не испытывал от того, что остался один. Ведь школа эта была расположена в двух кварталах от нашего дома, и я, играя возле дома, иногда прихватывал и школьный двор.

Мы вошли в один из флигельков и пошли по коридору. Вдруг завуч, оставив меня, наклонился возле одной из дверей и стал смотреть в замочную скважину. Перестав слышать его шаги, я оглянулся и увидел его маленькую фигурку, хищно склоненную у дверей.

Мне показалось странным, что он это сделал, провожая меня в класс, и главное – не стыдясь моего присутствия. Я вспомнил, что именно так мой сумасшедший дядюшка наблюдал сквозь щелки в кухонной пристройке за одной женщиной из нашего двора, в которую он был влюблен. Но он этого никогда не делал, если знал, что кто-то за ним следит. А этот прямо при мне подглядывает.

Наконец, отделившись от замочной скважины и нисколько не стыдясь того, что я это заметил, он подошел ко мне, и мы пошли дальше. Мне казалось, что на лице его плавало подобие блаженного выражения, какое бывало у дядюшки после того, как он насмотрится на свою возлюбленную и выходит во двор. Ненормальность дядюшки как бы проявлялась в этой неряшливости, а может быть, доверчивости сознания, которое не спешит или забывает убрать с лица выражение, вызванное чувством, испытанным до этого. Так, выпив воду с сиропом, которую он очень любил, он некоторое время сохранял на лице выражение человека, утоляющего жажду.

Между прочим, мое предположение оправдалось. В этом классе работала юная учительница, очень хорошенькая, может быть, даже красивая. Именно к ней часто приходили расфранченные молодые люди, и она на переменах бегала к ним своей трепещущей походкой, время от времени вскидывая голову, как бы стараясь высунуться из курчавого кустарника густых золотистых волос.

Интересно, что в детстве если уж женская красота воспринималась как красота, то это восприятие для меня лично сопровождалось каким-то ощущением стыда за ее обнаженность. Наряду с любопытством и приятностью вида красивого лица было еще какое-то не до конца уловимое ощущение, но оно было. Отчасти это ощущение можно назвать чувством неловкости, неподготовленностью окружающей среды, ее недостаточной праздничной настроенностью для восприятия красоты, словно красивые женщины должны появляться на улицах только в большие праздники – Первого мая, 7 ноября, в Новый год.

Отчасти это было ощущение некоторой ранимости красивого женского лица, словно оно сделано из другого материала, чем обычные лица, и связанное с этим желание как-то прикрыть его, накинуть что-нибудь на него вроде платка (уж не чадролюбивые ли гены моих предков тосковали во мне). Но еще один оттенок, по-видимому, связанный с моими чадролюбивыми стремлениями, и, может быть, этот оттенок и был главным, а именно – ощущение того, что красота связана с какой-то великой тайной, которую нельзя обнажать.

Разумеется, все это представлялось тогда совершенно смутно, но я уверен, что сейчас проращиваю зерна именно тех ощущений, а не каких-нибудь других. Точно так же, как я уверен, что завуч подглядывал в замочную скважину именно за этой молодой учительницей, хотя теперь уже не помню, видел ли я ее выходящей из этого класса или не видел. То, что она в нашем флигеле работала, это я помню точно.

Но вот завуч подвел меня к нужной двери, открыл ее хозяйским жестом и, пропустив меня вперед, вошел сам. Грохнув крышками парт, дети вскочили, что было для меня такой неожиданностью, что я еле удержался от желания броситься за дверь.

– Садитесь, – сказала учительница ребятам, и они с таким же грохотом сели. Она повернула к нам лицо. Это было лицо пожилой женщины в пенсне, блестящем золотистой оправой, с коротко остриженными, местами серебриющимися волосами. Она вопросительно оглядела нас.

– Македонович прислал, – сказал завуч тоном человека, который полностью снимает с себя всякую ответственность.

– Но у меня... – начала было она, но, взглянув на меня, вдруг добавила: – Хорошо.

Приподняв голову, она оглядела класс и, показав мне глазами на свободное место, сказала:

– Пока вон туда садись...

Завуч закрыл дверь. Ребята радостно вскочили, приветствуя его уход, я, не подозревая, что его уход тоже надо приветствовать, опоздал вскочить, что вызвало у некоторых учеников усмешки, показавшиеся мне обидными. Я чувствовал, что у мальчиков, которые здесь учились, сейчас возникло ко мне любопытство, скорее всего враждебное, какое бывает ко всякому чужаку, который входит в среду привыкших друг к другу людей.

Учительница продолжала урок. Я сейчас не помню, о чем она говорила, зато хорошо помню, что она, говоря то, что она говорила, старалась отвлечь это враждебное любопытство, которое я ощущал у себя на затылке. И в самом деле, я чувствовал, что от ее голоса враждебное любопытство ослабляется и уходит. Возможно, это происходило отчасти за счет усиления моего собственного любопытства к тому, что она говорила.

Во время перемены я выбежал на школьный двор, где встретил несколько ребят с нашей улицы и только начал с ними осваиваться в новой для меня роли школьника, как вдруг прозвенел звонок, призывающий всех в класс. Тогда меня поразила смехотворная несправедливость длины перемены по сравнению с длиной урока.

Потом помню себя после уроков идущим домой. Я часто прислушиваюсь к себе и удивляюсь впечатлению первого дня пребывания в школе, надоело – вот это впечатление.

А ведь до этого у нас дома не только хвастались моей будущей учебой, но я и сам делал вид, что страшно тоскую без школы, что только и мечтаю, как бы поскорее туда попасть, чтобы утолить сжигающую меня жажду познания. Отчасти я в эту роль, видимо, выгрался, чувствуя,

что от меня ждут чего-то такого, чтобы я вызвал у моего брата завистливый аппетит к учебе. Мало того, что у брата аппетита к учебе я так и не вызвал, я сам потерял этот свой хваленый аппетит в первый же день учебы.

В то же время я понимал, как взволнованно и празднично дома ждут моего возвращения из школы и как все будут разочарованы, если я им скажу, что в первый же день мне надоело учиться в школе. У меня хватило выдержки (или чего-то похуже, чем выдержки) скрыть свое разочарование школой, но все-таки изъяслять восторги по поводу моего принятия в школу я не мог, просто сил не хватило.

Да и не надо было, потому что в этот день случилось несчастье: на дядю Самада наехал автомобиль, вернее, не наехал, а сбил его с ног. Как раз когда я возвращался из школы, машина «Скорой помощи» остановилась возле нашего дома и санитары вынесли его на носилках и внесли во двор. Весь двор высыпал наружу, а один из санитаров, по-видимому, знакомый моей тети, кричал во всю глотку, что ничего особенного не случилось, пусть, мол, бабушка не волнуется.

Когда санитары стали подниматься по лестнице и я увидел удлинённую голову дяди, слегка сползшую к углу носилок, и вынужденно, из-за осторожности, торжественный ход санитаров вверх по лестнице, я вдруг подумал, что мой дядя никогда не достигал такого сходства с Суворовым, как сейчас на носилках.

Когда санитары стали поворачиваться на первой лестничной площадке, дядя приоткрыл глаза и, как обычно, посмотрел в сторону дверей Самуила. Но на этот раз из-за марлевой занавески испуганно выглядывала его жена. И вдруг рука дяди поднялась над простыней и вяло опустилась, он прикрыл глаза.

Между прочим, за носилками оставался густой спиртовой запах, словно из дяди вытекал и вытекал многолетний алкогольный дух. Дядя Самад после этого еще месяца два лежал дома со сломанной ногой, и в доме стоял густой спиртовой запах, и в конце концов тетушка, ссылаясь на нестерпимость этого запаха, выселила его на верхнюю площадку парадной лестницы, которой почти никогда не пользовались. Комнату его тетушка сдала квартирантам.

Так как я стал учиться в школе с двухнедельным опозданием, многих вещей, уже освоенных другими учениками, я не понимал, что вызывало у моих товарищей улыбки, а то и откровенный смех класса. Так, например, я не знал, что разговаривать в классе вообще нельзя, а если уж говоришь, то надо стараться говорить потише и как-то сообразовывая свой голос с расстоянием, на котором находится от тебя учительница, с тем, куда она смотрит, и так далее. А между прочим, голос у меня от природы был достаточно громким.

В ответ на неоднократные нарушения правил Александра Ивановна мне несколько раз предлагала выйти из класса, с чем я, оказывается, соглашался с неприличной поспешностью. Эта неприличная поспешность вызывала тайное веселье Александры Ивановны, я это замечал по ее глазам, скрытым под стеклами пенсне. А между прочим, поспешность моя объяснялась не тем, что я радовался освобождению от занятий, а просто я старался как можно быстрее выполнить то, что мне сказала учительница. Впрочем, может быть, кроме этого, на моем лице было написано еще что-то такое, что вызывало ее тайное веселье.

Но что уж вызывало всеобщее, никем не скрываемое веселье, это то, как я выходил из класса. Как только мне предлагали выйти из класса, я начинал впихивать в портфель свои школьные пожитки.

– Портфель пусть остается – ты выходи! – говорила Александра Ивановна, стараясь не смеяться и руками показывая, чтобы я оставил в покое портфель. Я неохотно оставлял портфель и выходил из класса.

Сейчас я думаю, что в этом маленьком эпизоде сказалось некое коренное свойство моей природы, которое заключается в склонности, уходя, уходить целиком. Это очень неудобное и для меня и для окружающих свойство. Зная, что я, уходя, буду стремиться уходить целиком,

я в отношениях с людьми проявляю слишком большую терпимость, что поощряет некоторых из них выращивать свое вкрадчивое хамство в сторону моей терпимости. Нет чтобы сразу же приостановить вкрадчивое хамство или, во всяком случае, отвернуть его от моей терпимости и дать ему расти в свободном направлении, я долго терплю, что воспринимается хамством как награда за высокое качество своей вкрадчивости.

Но в один прекрасный день, когда вкрадчивое хамство уже успело вырастить на подпорках моей терпимости неплохой урожай баклажанов, помидоров и других не менее полезных огородных культур, я неожиданно для хамства, привыкшего к оседлости (от слова оседлать) возле моих подпорок, я, значит, неожиданно для хамства трогаюсь с места, забирая с собой все свои подпорки, и устраиваюсь в безопасной для этого хамства местности.

– Подожди, объяснимся! – кричит мне вслед покинутое хамство, но я не останавливаюсь, а оно не может бросить свое хозяйство, отчасти обрушившееся и осевшее после моего ухода.

– Подожди, объяснимся! – кричит хамство, но в том-то и удовольствие – уйти от хамства, не объясняясь. Мне даже кажется, что сама сила моей терпимости долгое время питалась надеждой дать хамству достаточно раскуститься, обвиснуть плодами, а потом неожиданно покинуть его, не объясняясь.

Некоторое время я благодушно наслаждаюсь сиротскими стенаниями покинутого хамства. Но, видно, я слишком затягиваю это наслаждение. Никогда не надо слишком затягивать удовольствие, потому что тот, кто его нам отпускает, тоже следит за этим. И если иногда нам удастся продлить его, пользуясь тем, что и тот, кто следит за правилами пользования отпущенного нам удовольствия, тоже иногда заезывает, доставляя себе непозволительное для следящего удовольствие поротозейничать, то и он за это рано или поздно получает взбучку, потому что и над следящим за нами есть следящий за всеми следящими. Так вот, следящий за нами, получив от него взбучку, в свою очередь, обрушивает свой гнев на нас и прерывает наше неправомерно затянувшееся удовольствие соответствующим наказанием.

Во всяком случае, я, мысленно наслаждаясь сиротскими стенаниями покинутого хамства, иногда, очнувшись, обнаруживаю, что по посоху моей терпимости уже выются робкие плети нового растения с нежными антенками усиков, с мохнатенькими листиками, в сущности, так непохожими на позднейшие плоды хамства, как желтенькие звездочки весенней завязи не похожи на осенние, тяжелозадые тыквы. Ну как отщелкнешь эту робкую плеть! Подождем, посмотрим, а вдруг что-нибудь хорошее получится...

* * *

Конечно, я быстро усвоил все эти гласные и негласные школьные правила. Так что теперь, если приходилось покидать класс, я доверчиво оставлял свой портфель. Надо сказать, что наказание это я испытывал очень редко и всегда тоскливо переносил.

Учился я хорошо. Мне ничего не оставалось. Сокрушить всеобщую семейную уверенность в том, что с моим приходом в школу будет полностью восстановлено не только благонравие семьи, но в виде более отдаленного, но вполне мыслимого будущего достаток и процветание, сокрушить все это было бы дороже и утомительней.

Иногда я бывал отличником, но чаще бывал среди тех, кто близок к тому, чтобы стать отличником. Во всяком случае, в кругах отличников я проходил за своего человека. Но истинные отличники, то есть отличники по призванию, нередко обращаясь ко мне, едва скрывали насмешку в глубине своих умненьких глазок, как бы уверенные, что рано или поздно мое тайное дилетанство должно будет меня подвести. Так оно и случилось.

* * *

Случилось это, видимо, в третьем или четвертом классе, в начале учебного года. В тот удивительный промежуток своей жизни я почти каждый вечер ходил с тетушкой в кино. Я думаю, что началось это хождение по кинотеатрам с лета, а потом незаметно для тетушки (погода-то у нас еще долго в начале осени стоит почти летняя) перекинулось на осень.

У меня такое впечатление, что мое детство прошло под странным знаком заколдованного времени – моя тетушка за все это время никак не могла выскочить из тридцатипятилетнего возраста.

В ту осень она почему-то особенно часто говорила, что ей тридцать пять лет и что я отличник. Может быть, где-то в первом классе оба эти сведения совпадали, но потом они совпадать никак не могли, с тем более странным упорством она утверждала, что я отличник, а ей тридцать пять лет. После первого класса я иногда и бывал отличником, но ей, конечно, больше никогда не бывало тридцать пять лет. А именно в эту осень я был так же далек от отличника, как она от полюбившегося ей возраста. Но она об этом не знала. То есть я хочу сказать, что она не знала не то, что ей больше тридцати пяти лет, а не знала то, что сведения о моей учебе так же преувеличены, как преуменьшен ее возраст.

И вот тетушка каждый вечер ходит со мной в кино, говорит своим знакомым, что ей тридцать пять лет и что я отличник. Не то чтобы она прямо так связывала эти два обстоятельства, мол, вот он, мой племянник-отличник, а что, мол, касается меня, то мне тридцать пять лет. Но все-таки какая-то связь была. Каким-то образом, выдавая меня за отличника, она помогала версии о том, что ей всего тридцать пять лет.

Иногда я пытался протестовать, но из этого ничего не получалось или получался еще больший конфуз. Мои протесты она относила к числу как раз тех достоинств, которые делают человека отличником.

– Круглый, – говорила она, махнув на меня рукой, – круглый отличник...

Вот это махание рукой особенно меня выводило из себя. Оно означало, что тут и разговаривать не о чем, тут этого вещества, которое делает человека отличником, столько, что можно было бы и отряхнуть меня слегка, как ветку, чересчур отягченную плодами.

– Одного боюсь, – говаривала она, вздохнув, – слишком много читает...

Тут рассказывался случай, и в самом деле имевший место один раз в жизни, но поданный с таким видом, как будто это обычная картина. Я и в самом деле однажды читал книгу, а именно «Детство» Горького, и вдруг погас свет, что было в те годы обычным явлением. Дело происходило у тетушки на кухне.

Пока все ожидали, не зажжется ли свет, или готовили керосиновую лампу, я прилег на пол тетушкиной кухни и стал читать при свете, льющемся из экрана керосинки.

Свет, конечно, слабый, но по-своему очень уютный и приятный. Читал я так, наверное, с полчаса, не подозревал, что вокруг меня и этой закоптелой керосинки уже слегка миражирует контур легенды о маленьком мученике ученья. К сожалению, в последующие годы, да и до сих пор горячка чтения сменяется долгими промежутками равнодушия к книге.

...Почти каждый раз, когда мы шли с тетушкой в кино, она по дороге заходила на работу к своему мужу дяде Мише. Она заходила в магазин с тем, чтобы забрать его с собою, но это редко удавалось, потому что дядя бывал занят, и тетушка некоторое время нудно упрекала его в загубленной молодости, а он сидел над грудой накладных, шелкал счетами и что-то молча записывал.

Мне как-то неприятно было слушать эти упреки, как-то неловко было оттого, что не тот, кто работает, упрекает того, кто развлекается, а тот, кто развлекается, наскაკивает на того, кто работает.

Обычно мы уходили вдвоем, и тетушка торопилась, как бы стараясь наверстать упущенное за время загубленной молодости, потом успокаивалась, и примерно через квартал каблук ее от быстрой сердитой дроби переходили на веселый легкий перестук. Иногда мне кажется, что она этими бесконечными упреками освобождала душу от небольших угрызений совести за наше кинообжорство.

– Ах, так! – как бы говорила она себе после этих попреков. – Вы с нами не желаете пойти погулять! Так мы в таком случае не будем вылезать из кино!

Дядя очень добросовестно относился к своим обязанностям директора гастронома. У нас в доме до сих пор сохранился огромный снимок, где он стоит в окружении своих продавцов под переходящим знаменем торгового двора, которое он держал в течение нескольких лет, покамест во время войны его не забрали в армию. Даже на этом снимке его могучая фигура и сильное, правильное лицо не могут скрыть тайной унылости, которая, видимо, стала к этому времени хроническим состоянием его души. И как бы в противовес дяде один из продавцов на этом снимке, а именно дядя Раф, так и лучится жюльническим весельем. Тетушка с большой симпатией относилась к этому продавцу, отчасти потому, что у него был веселый, легкий характер, отчасти потому, что он снабжал тетушку не вполне оплаченными покупками.

Обычно она за продуктами посылала дядю Колю, вручив ему деньги и список того, что ей нужно. Когда дядя Коля возвращался домой, она с каким-то повышенным азартом заглядывала в корзину, после чего или расцветала, или явно гасла. Если лицо ее гасло – это означало, что дядя был на месте и Раф отпустил продуктов ровно столько, на сколько хватило денег.

– Отец был там? – спрашивала она на всякий случай дядю Колю.

– Там, там, – радостно отвечал тот, не подозревая, чем вызван ее вопрос.

– Ну, конечно, – говорила тетушка неизменно, – я так и знала...

Хотя тетушка часто ворчала на мужа, что другие на его месте особняки строят, а он семье отказывает в куске хлеба, все-таки она в этих делах дядю побаивалась и свои симпатии к Рафу объясняла целиком его веселостью и отзывчивостью. Если мы с тетушкой приходили за продуктами и заставляли дядю в гастрономе, то он сам отпускал нам продукты и с некоторой комической дотошностью вынимал из кармана деньги и клал их в кассу, пока Раф перемигивался с другими продавцами.

Однажды, не замечая, что я стою поблизости и рассматриваю витрины с конфетами, этот Раф рассказал, видимо, своему близкому другу, стоявшему по эту сторону прилавка, такой случай.

Оказывается, под праздник в гастрономе продавали кулич, и один любитель кулича, купив его и убедившись, еще не доходя до дому, что кулич совершенно невкусный, вернулся в гастроном и устроил скандал. Но так как было совершенно ясно, что продавцы в этом не виноваты, ему пришлось успокоиться и уйти домой с этим невкусным куличом.

– А как же он будет вкусным, – продолжал Рафик, посмеиваясь и плутовато кивая на кондитерскую фабрику, которая была расположена недалеко от гастронома, – если яйца мне принесли, сахар мне принесли, масло тоже...

Тут они оба расхохотались, и взгляд Рафика упал на меня. Я это почувствовал.

– Не дай бог, дядя Миша узнает, убьет, – сказал он своему другу, и они слегка приглушили свой смех.

– Почему невкусный, спрашивает, да? – напоминал время от времени его товарищ.

– Да, – соглашался Рафик, и они снова начинали смеяться. Я сделал вид, что ничего не понимаю, хотя мне было очень неприятно, что он так обдуривает дядю, которого я считал умным человеком.

Вообще-то я думаю, что в глубине души дядя знал, что его обманывают, но уже сделать ничего не мог. С одной стороны, невозможно было уследить за всеми, с другой стороны, он уже слишком прославился как руководитель образцового коллектива, получающий ежегодно

переходящее знамя. Торгу он был выгоден, как надежный чудака, на которого во всех случаях можно положиться, и его гастроном снабжали лучше, чем остальные магазины, что давало ему возможность намного перевыполнять план и получать приличную зарплату.

Сейчас я думаю, что он чувствовал эту липоватость своего образцового положения, но не мог ни привыкнуть к ней, ни набраться сил и уйти от всего этого, а заодно и от тетушки. И это состояние придавало его облику некоторую заторможенность, сумрачную тяжеловатость, которая так не соответствовала щедрому, легкомысленному, эгоистически-ненасытному темпераменту тетушки.

Они довольно часто ссорились, и ссоры эти из-за ее вздорной страстности проходили слишком бурно. Однажды во время ссоры тетушка крикнула, что она больше так не может, и выбежала из кухни. Все поняли, что она сейчас же покончит жизнь самоубийством, и даже поняли, как именно: бросится со второго этажа внутренней парадной лестницы на цементный пол прихожей нижнего этажа. Все, кто был в кухне, включая бабушку и моего сумасшедшего дядю, бросились ее останавливать. Все, кроме меня и дяди.

Мне почему-то было совершенно ясно, что этого не может быть, что она ни за что этого не сделает.

– А ты чего тут сидишь?! – вдруг заорал дядя, когда погоня слегка замолкла в глубине дома. До этого он на меня никогда не кричал. Сконфуженный, я вышел из кухни. Я был особенно смущен, потому что, оставшись вместе с дядей на кухне, считал, что я его этим поддерживаю, как бы своим поведением доказываю вздорность ее угрозы.

Теперь-то я понимаю, что он очень волновался и только из гордости не сдвинулся с места. Моя детская рациональность правильно мне подсказывала, что человек не может покончить самоубийством из-за всякой ерунды. Но взрослый опыт сильно расшатывает чистоту детских представлений о логических соответствиях. Взрослый человек понимает, что хотя все это и так, а все-таки человек может сделать роковой шаг помимо всякого смысла, а может быть, и назло всякому смыслу, особенно если этот человек женщина...

Вот почему дядя тогда так закричал на меня. Видимо, я ему был противен и тем, что, оставшись, как бы напрашивался ему в напарники в слишком личном деле, а моя не заполненная душевной болью выдержанность должна была привести его в бешенство, что и произошло. Разумеется, из всего этого не следует, что я был равнодушен к этим стычкам, но, конечно, чувствовать и сотой доли его страданий я не мог.

Интересно, что после больших ссор между ними, по крайней мере на несколько дней, устанавливались изумительные отношения, и тетушка целыми вечерами, когда он приходил с работы, как бы осыпала его кроткими перышками голубиной нежности.

И вот, значит, в тот несколько фантастический период моей жизни мы с тетушкой почти каждый вечер ходим в кино и почти каждый вечер смотрим по две картины. Первую, как правило, смотрим в одном из клубов, а вторую в нашем центральном кинотеатре «Апсны», где директором тогда работала тетушкина давняя приятельница, тетя Медея. Разумеется, у тети Медеи мы ее смотрим бесплатно, и чаще всего на третьем сеансе.

Помню маленькую фанерную пристройку внутри помещения кинотеатра под лестницей, ведущей на галерку. Убогость этой фанерной пристройки взрывается (чуть откроешь дверь) сокровищами ее внутреннего убранства – сочетание ярчайшего электрического света и волшебных цветных афиш, которыми оклеено все стенное пространство помещеньца. Одни афиши славны как бы сказочностью невозвратимого прошлого, они говорят о фильмах, которые я уже никогда не увижу, но ребята, те, что постарше лет на пять, знают их и с восхищением рассказывают о них как ветераны:

– «Знак Зеро», «Мисс Менд», «Красные дьяволята»!

Другие афиши, снабженные легким, пьянящим словом «Анонс», мягко утешают, улыбаются, как бы говоря: не все счастье в прошлом, кое-что будет и в будущем, например, «Ошибка инженера Кочина», «Граница на замке».

Афиши вообще сами по себе почему-то волнуют, словно несут на себе мгновенный жар пронесшейся кометы праздника, рассматривать их доставляет огромное удовольствие.

Пока тетушка разговаривает с тетей Медеей, сидящей за маленьким столиком, скорее напоминающим туалетный, чем учрежденческий, я впиваю и впиваю в себя аромат этих афиш.

Иногда в кабинетик тети Медеи всовывается голова одной из работниц кинотеатра:

– Звонок давать? – спрашивает она.

– Подожди, я скажу! – отмахивается от нее тетя Медея и, затягиваясь бесконечной папироской, продолжает свой бесконечный, как тетушкины тридцать пять лет, рассказ о своей жизни. Его нехитрую суть, как мне казалось, я сразу уловил: она была замужем за одним человеком, но потом он ушел к этой Негодяйке. Иногда она его самого тоже называла Негодем, и тогда мне казалось вполне естественным, что Негодяй ушел к Негодяйке, и я никак не мог понять, о чем тут жалеть и зачем это все переживать тысячу раз.

Тетушка обычно слушала ее, глядя в ее бледное, по-видимому, когда-то привлекательное лицо, так же жадно куря и пуская изо рта воинственные струи дыма. Так как расстояние между ними было небольшое, они обе, выдыхая дым, приподымали головы, чтобы не дымить друг другу в лицо, и иногда струи дыма перекрещивались в воздухе, как бы пронзая призрак Негодяйки.

Тетушка слушала ее рассказы, все время давала ей советы, которые сводились к тому, что этой Негодяйке непременно надо отомстить, опозорить, унижить ее.

Рассматривая афиши, я краем уха слушал эту болтовню и прекрасно понимал, что все это вздор, что само предложение отомстить Негодяйке никак не выполнимо, потому что она жила в Тбилиси, а мы жили в Мухусе, так что все это было пустыми словами. Я также чувствовал, что сама энергичность предлагаемых тетушкой мер идет от их невыполнимости, но в то же время они взбадривают тетю Медею, как бы показывают ей, насколько эта Негодяйка мерзка и каких она достойна кар; даже если эти кары не достигнут ее. В конечном итоге все эти свирепые советы, предлагаемые тетушкой, как-то полностью оправдывали наше бесплатное посещение кино.

Иногда дверь кабинета отворялась каким-нибудь посетителем кино, возмущенным то ли билетом, выданным ему на проданное уже место, то ли еще чем-нибудь. В таких случаях тетя Медея прерывалась с большой неохотой или даже откровенным раздражением в зависимости от общественного положения посетителя и, нередко от возмущения закашлявшись (она и так все время покашливала), начинала стыдить этого жалобщика или, указывая на тетушку, просила его подождать, пока она поговорит с предыдущим посетителем. При этом тетушка неизменно выражала всем своим видом, что вот она в кои века вошла к директору по важному делу, а ей и пару слов не дают сказать.

Некоторые посетители, у которых вообще никакого билета не было, тут же направлялись в правительственную ложу, и они с важностью следовали туда чаще всего целыми семьями. Интересно, что, как только дверь за ними закрывалась, они награждались каким-нибудь презрительным замечанием, как я понимал, за то, что они, не будучи правительством, лезут в правительственную ложу.

Вообще правительства я никогда в кинотеатре не видел, этим, видимо, и пользовались такого рода люди. Судя по всему, они занимали в обществе такое положение, что сидеть на обычных местах они уже не хотели, а до правительственного места недотягивали, вот им и приходилось просить тетю Медею.

– Подумаешь, в АБСОЮЗе работает, – говорила тетя Медея, или что-нибудь в этом роде, – забыл, как его отец петрушку на базаре продавал.

– Эта гальская кекелка тоже себя дамой почувствовала, – добавляла тетушка в адрес жены этого работника непонятного АБСОЮЗа.

Если мест в кинозале не было, тетя Медея усаживала нас в распахнутых дверях кинозала, куда мы перетаскивали стулья из кабинета. Обычно она усаживалась рядом с нами, и, если картина была им не очень интересна, они полупшепотом продолжали свои разговоры про эту Негодяйку.

Если мы попадали на последний сеанс, я время от времени засыпал, потом просыпался, силясь понять, что делается на экране, и снова засыпал. Таким образом, именно в дверях переполненного зала мы смотрели картину «Петр Первый», и я все время мучительно старался продрать глаза и понять, чего этот Петр Первый все время кричит, дерется палкой и прыгает, кажется, из окна, во время наводнения. Помню, он мне не понравился своими кошачьими усами, а главное, чувством опасности этого человека, от которого не знаешь чего ожидать.

Помню такой длинный киножурнал с речью товарища Сталина, которую он произносил на каком-то собрании. Он стоял на трибуне и, по-видимому, чувствовал себя очень свободно, громко звякал бутылкой о стакан, наливая себе воду, чуть-чуть отпивая и продолжая говорить.

Так как я тогда был слишком мал, чтобы оценить величавость его движений, я их воспринимал как странную замедленность. То, что окружающие меня взрослые его речь понимали не больше меня, было ясно из того, что все они обсуждали одну-единственную фразу из всей речи, которая и мне именно тогда же в кино показалась живой, ясной и мудрой.

– Семья не без уroda, – сказал тогда вождь в своей речи, и я тут же стал мысленно подыскивать в знакомых семьях какого-нибудь уroda, а в некоторых семьях я находил по несколько уродов.

Интересно, что в семьях, которые мне казались до этого идеальными, я, подумав как следует, начинал находить уroda. При этом меня поражало, как они ловко маскировались, скрывая свое уродство, и именно те вдруг мне представлялись уродами, которые меньше всего до этого казались подозрительными.

Мысленно просматривая их поведение, я вдруг обнаруживал трещинку странности, которая соединялась с другими трещинками странностей, и все это вместе складывалось в картину скрытого и потому еще более уродливого уродства. Полное отсутствие каких-либо странностей воспринималось как особо изоциренная странность, так что ни одна семья не могла рассчитывать на исключение. Ведь сказано: «Семья не без урода». Значит, надо искать и находить.

Из разговоров взрослых по поводу этих мудрых слов я понял, что, оказывается, у великого отца есть сын Вася, который очень плохо учится. И вот, исчерпав все доступные средства, а ему, разумеется, были доступны все существующие в мире средства, и, убедившись, что сын Вася упорно продолжает плохо учиться, он пришел к неотвратимому выводу, что, оказывается, тут ничего нельзя поделать, что, оказывается, это такой закон природы: в каждой семье должен быть урод.

Интересно, что, узнав про сына Васю, который, несмотря на все старания великого отца, плохо учится, я почувствовал к вождю какое-то теплое чувство. Должен со всей определенностью сказать, что этого теплого чувства у меня к нему никогда не было. Иногда это меня мучило как-то, но я ничего с этим поделать не мог. Несколько позже, уже будучи подростком, я узнал, что и у некоторых моих сверстников тоже не было этого теплого чувства...

У меня по поводу многих картин, которые я тогда смотрел, были свои недоумения, как я теперь понимаю, довольно здравые. Так, например, бесконечные шпионские картины, которые сами по себе мне очень нравились, были все-таки недостаточно убедительными.

В каждой картине, кишмя кишевшей шпионами, все они к концу оказывались выловленными. То, что наш отважный чекист, в которого многие из них стреляли и вполне могли убить, все-таки оставался живым, в худшем случае раненным в руку, так что он, по крайней мере, мог обнять и вдумчиво поцеловать свою жену или невесту, пришедшую к нему в больницу, меня

не очень смущало. Ну ладно, думал я, хотя это выглядит немного по-детски, все-таки приятно, что такой смелый, симпатичный парень остался живым.

Неубедительным было другое, а именно то, что в каждой картине вылавливали всех до самого последнего шпиончика. Ни одному не удавалось удрать. Я даже часто себя ловил на постоянной мысли, что хотел бы, чтобы хоть один шпион сумел утаиться. Для чего я это хотел? Прежде всего для того, чтобы сделать убедительными остальные картины про шпионов. Уцелел один, стало быть, он завербует растратчиков, доверчивых ротозеев, вызовет по приемнику новых шпионов из-за границы. Ведь будут другие картины про шпионов, и тогда будет ясно, откуда они взялись.

А так после каждой картины получалось, что все шпионы выловлены и любимый город, как поется в песне, может спать спокойно. А потом оказывается, что все равно полным-полно шпионов и незачем было уверять любимый город, чтобы он спал спокойно.

Помню еще одно недоумение. Показ фашистов сопровождался такой страшной музыкой, от их облика исходила такая беспощадная свирепость, что я иногда в ужасе поворачивал голову, чтобы, увидев рядом горбоносый профилек тетушки, кстати, невозмутимый, убедиться, что мне лично ничего не угрожает, что я далеко от всего этого и в полной безопасности.

Хотя это отчасти успокаивало, вернее, успокаивало как-то физически, нравственно я испытывал немалые терзания. Мой трепещущий организм явно отказывался совершать подвиг в таких условиях. Например, в картине про испанского мальчика Педро, который, каким-то образом оказавшись на фашистском корабле, обнаруживает в трюме ящики с бомбами, на которых для маскировки (нет предела их коварству) написано «Шоколад».

И вот этот отважный мальчик решил взорвать корабль и, набрав в кочегарке полное ведро жару, проносит его в трюм. И вот он идет с этим ведром (ужас!), и каждую секунду его могут обнаружить фашисты, и музыка своей назойливой тревогой подтверждает это. Я смотрю, я слушаю, я чувствую всем телом леденящий душу страх, с унижающим, растаптывающим стыдом чувствую, глядя на Педро, что нет, я этого не мог бы сделать...

Правда, на следующий день среди дневного сияния, вспоминая картину, уже отделенную хотя бы от этой ужасающей музыки, и успокоенный знанием счастливого конца этой истории, я как-то снова начинаю храбриться и верить, что, пожалуй, и я смог бы повторить подвиг республиканского мальчика Педро.

Между тем время шло. Мама ворчала, потому что по утрам ей стоило невероятных трудов поднять меня с постели, но тетушка в нашем доме главенствовала над всеми, тем более я сам с огромным удовольствием окунался в этот киношный разгул.

Иногда тетушка по какой-то неожиданной причине охладевала к своей подруге, и мы прерывали на несколько дней свои кинопоходы или ограничивались просмотром одной картины в каком-нибудь из клубов. Я как-то никогда не мог понять, почему она к ней охладевала, потому что внешне их отношения как будто никак не менялись. Но иногда, возвращаясь после кино домой, она вдруг начинала говорить о муже своей подруги с какой-то предательской теплотой, и получалось, что ему ничего не оставалось делать, как уйти от этой несносной женщины.

– Не давай ей себя целовать, – советовала она мне, хотя я и сам терпеть не мог все эти взрослые поцелуи. А тут при встрече они сами чмокались, и подружки ее меня чмокали, и как-то получалось, что стыдно увертываться от близкого человека, да еще, пользуясь этой близостью, бесплатно смотреть кино.

– Все-таки легочница, – добавляла она, выговаривая последнее слово с каким-то презрительным украинским придыханием, – говори, что родители тебе не разрешают.

Вот глупая, думал я, злясь на тетушку, как же это я скажу, когда ты же всех уверяешь, что ты меня воспитала и поэтому ты и есть истинная родительница.

Но вот однажды вечером наступил час расплаты. Тетушка, поругав брата за плохие отметки, по-видимому, решила показать ему пример хорошей учебы и самой отдохнуть на

моих хороших отметках. С этой целью она вдруг попросила меня принести мою домашнюю тетрадь. Обычно она в мои домашние тетради никогда не заглядывала, а только смотрела таблицу и лично у себя держала мою уже слегка пожелтевшую похвальную грамоту за первый класс, как маленькое знамя наших фамильных побед.

Мне ничего не оставалось, как пойти домой за тетрадь, о плачевном состоянии которой я один знал. На меня нашло какое-то оцепенение. Я почему-то не пытался ни улизнуть от ответственности, ни схитрить, скажем, сказать, что тетрадь у учительницы, а дневников у нас тогда не было.

В общем, в состоянии какого-то оцепенения я спустился вниз к себе домой, вытащил из портфеля тетрадь и обреченно понес ее наверх. Не знаю, на что я надеялся. В этой тетради сначала шла отличная отметка, потом две хорошие, а потом уже оценки, выражающие всевозрастающее недоумение учительницы, переходящее в ужас.

Смутно помню, что какая-то надежда была, но на что я надеялся, никак не могу вспомнить. На то, что тетюшка посмотрит первые три отметки и захлопнет тетрадь? Нет, зная ее ненасытность, чрезмерность во всем, я никак не надеялся на это.

На что же я все-таки надеялся? Трезвый анализ воспоминаний не оставляет никаких признаков надежды, кроме надежды на чудо.

Да, по-видимому, оставалась слабая надежда на чудо. Разумеется, необязательно какое-то сверхъестественное чудо. Я мог надеяться на вполне реальное чудо. Например, гости нагрязнили! А такое бывало частенько. В таком случае, конечно, казнь пришлось бы отменить. То, что в тетюшкиной кухне сидели дядя Алихан и дядя Самуил, не принималось в расчет. Они были соседями по двору, и тетюшка не постеснялась бы при них опозорить меня.

И вот я снова вхожу в тетюшкину кухню, как бы с особой нарочитой силой, чтобы ярче меня опозорить, озаренную электрической лампой. Вижу бабушку, сидящую возле печки, она там всегда сидит независимо от времени года. Рядом с ней мой сумасшедший дядюшка, потому что ей приятно всегда держать его под рукой: ну, там подать что-нибудь, принести, унести. А еще для того, чтобы, если ему кто-нибудь из остальных предложит что-нибудь сделать, ей легче было бы отменить или поддержать эту просьбу.

Дело в том, что бабушка была для дяди высшей властью. Он, конечно, в основном делал все, что ему говорила тетья, но, если это происходило на глазах у бабушки, он всегда оглядывался на нее, и она движением головы или руки подтверждала, что это надо сделать, или, наоборот, не советовала.

Иногда во время уборки, а они происходили очень часто, учитывая яростную чистоплотность тетюшки, бабушка, жалея дядю, которому приходилось таскать и сливать грязную воду, давала тайный приказ бастовать или, чтобы смягчить столкновение с тетюшкой, притвориться больным. Пожалуй, самое смешное во всем этом была быстрота понимания дядюшкой того, что от него требуется. Намек на то, что ему надо отказаться от работы, он понимал гораздо быстрее, чем самое толковое разъяснение того, что надо сделать.

Впрочем, тогда мне было не до всего этого. И вот я, значит, вхожу в кухню, где за столом сидит тетюшка, во главе стола на кушетке, напротив нее дядя Алихан, ждущий моего дядю, чтобы сыграть с ним пару партий в нарды. Рядом с Алиханом мой брат, несколько не смущенный предстоящей педагогической пыткой. От избытка темперамента он все время ерзает, озирается на дядю Колю, чтобы выбрать момент и подразнить его, но выбрать момент трудно, потому что с одной стороны бабушка, а с другой тетюшка перекрестно просматривают его кругозор. И, наконец, рядом с тетюшкой дядя Самуил, бдительно подтянутый, в любую минуту готовый отстаивать свое маленькое, но неотъемлемое право считать себя караимом.

Я подаю тетюшке тетрадь через стол. Тупость моего поведения еще в том, что я никак не обнаруживаю, что ее надежды на мою блестящую учебу не оправданы. Это, конечно, ухудшит мое положение, как дополнительная ложь. Я это чувствую, но ничего не могу с собой поделать.

Единственное, в чем проявляется мое понимание моей будущей судьбы, это то, что я пытаюсь остаться за этой стороной стола, где сидит мой старший брат. Но тетушка, протягивая руку за тетрадь, ясно мне указывает, что мое место рядом с ней.

Ничего не поделаешь, я протискиваюсь мимо дяди Самуила, который, и привстав и пропуская меня, не теряет выражения готовности отстаивать свое маленькое, но неотъемлемое право.

Наконец я усаживаюсь рядом с тетушкой, она гасит в глазах легкую досаду на мое мешканье, досаду, как бы означающую: нельзя же быть отличником в школе, а дома таким уж недо-тепой.

Она медленно раскрывает тетрадь, ставит плоскость ее перпендикулярно к электрическому свету, хотя и так прекрасно видит, и на первой же странице замечает отличную оценку.

– Отлично, – читает она, как бы не вполне доверяя глазам и пробуя слово на звук, как пробуют ноту: да, да, та самая нота, которую мы ожидали...

Она многозначительно смотрит на брата, потом на меня, отдаленно, но уже без всякой досады вспоминая, что я при такой учебе мог бы и дома проявлять большую понятливость и не заставлять ее по десять раз предлагать усесться рядом с ней.

– Я это еще до школы знал, – напоминает дядя Самуил о своей давней математической загадке, которую я первым разгадал.

Тетушка листает страницу. На следующем развороте сразу две оценки ниже на балл.

– «Хор», «хор», – несколько разочарованно произносит тетушка, последовательно на обеих страницах прочитав оценки. Она смотрит на меня с легким укором, как бы говоря: конечно, «хор» неплохая оценка, но нельзя же считать себя отличником и получать подряд две хорошие оценки.

Вдруг она переводит взгляд на моего приободрившегося брата и взглядом говорит ему: а ты не радуйся, тебе до этого, знаешь, как далеко?

Я с ужасом жду третьей страницы. Там, на третьей и четвертой страницах, идут две оценки – «посредственно» и «хорошо», именно в такой последовательности.

– «Пос», – читает тетушка, и тут подключается в работу, до этого слабо подыгрывавшая, ее артистическая жилка. Она смотрит на меня, потом на брата, потом снова на меня, как бы с тайным содроганием начиная находить между нами черты духовного сходства.

– Дье, – произносит она ненавистное мне междометие, означающее горестное недоумение. Тетушка говорит по-русски совершенно чисто, она еще знает и абхазский, и грузинский, и турецкий, и персидский языки. Так что иногда она вставляет в свою русскую речь какие-то неизвестные мне междометия, которые помогают ей выразиться острее, чем позволяют привычные языковые средства.

– Дье, – повторяет она и беспомощным движением протягивает тетрадь моему соседу, словно внезапно проявившаяся слабость зрения заставила ее увидеть такую невероятную оценку, – Самуил, наверное, я плохо вижу, что здесь написано?

– «Пос», – отчетливо и без каких-либо личных чувств произносит Самуил, на миг заглянув в тетрадь. Он это произносит с той давней своей интонацией человека, который раз и навсегда решил держаться в скромной, но зато всегда чистоплотной близости к фактам. – Следующая «хор», – добавляет он, сухо вато утешая тетушку, но опять же только за счет возможностей самих фактов.

– «Хор», – горестно повторяет тетушка и смотрит на меня, слегка покачивая головой, в том смысле, что и отличная оценка была бы после такого падения довольно слабым утешением, а что же может сделать это малокровное «хор»?

Слегка послунявив палец, тетушка медленно, увы, якобы не ожидая ничего хорошего, а на самом деле именно ожидая, но только для меня делает вид, что особенно мне сейчас неприятно, потому что я-то знаю, что дальше никакого просвета нет. И вот она наконец печальным

движением перелистывает страницу, как книгу горестной судьбы. Что я чувствую? Я чувствую, что заполнен позором, у меня такое ощущение, словно у меня поднялась большая температура, отупляющая все восприятия, но и сквозь свои притупленные восприятия я все еще почему-то думаю, что хорошо бы все это закончить до прихода дяди с работы. Хотя теперь это не имеет большого значения, мне почему-то хочется выиграть эту маленькую ставку.

Сам я в тетрадь не смотрю. Я смотрю на своего сумасшедшего дядюшку. И так как я смотрю на него довольно пристально, он начинает слегка нервничать. Сначала пожимает плечами в том смысле, что он лично к этой проверке тетрадей никакого отношения не имеет и не понимает, почему моя укоризна направлена на него. Он чувствует, что происходит какая-то проверка моей учебы и что эта проверка для меня неблагоприятна.

Он сидит, положив ладони на колени, и смотрит перед собой немигающим взглядом своих зеленых глаз. Он как бы говорит мне своим взглядом: я в твоих учебных делах не разбираюсь, не разбираюсь и не хочу разбираться... Вот придет время пить чай, я его с удовольствием выпью и пойду с бабушкой спать, а остальные меня мало интересуют...

Но дядюшка ошибается, думая, что я на него смотрю с обычной целью подразнить его. Нет, на этот раз я на него смотрю с тоскливой завистью. Хорошо жить, как он, думаю я, ни за что не отвечать, ничего не стыдиться, не ведать, что делается вокруг.

А между тем эта моя страница в кровотокающих рубцах красных чернил. Это следы гневных ударов пера Александры Ивановны.

– Пло-хо, – читает тетушка по слогам и растерянно оглядывает окружающих, – но вот эти восклицательные знаки для чего?

После оценки Александра Ивановна поставила три восклицательных знака, барабанные палочки, выбивающие тревожную дробь по поводу ухудшения работы моей головы. Наверное, тетушка и в самом деле не может понять, для чего эти восклицательные знаки в таком количестве, но нет, скорее всего ее артистизм доигрывает, дополняет мою катастрофу, она как бы внушает окружающим истолковать эти восклицательные знаки как признак утроенности моей плохой оценки.

– Подумаешь, большое дело, да?! – говорит дядя Алихан, по доброте своей пытаюсь отвлечь внимание тетушки от моих оценок. – Я кофейни-кондитерские терял и то жив-здоров?!

Он смотрит на тетю своими круглыми глазами, потом на остальных, как бы говоря: ну-ка, напрягите свое воображение и попробуйте представить, что страшнее: временное ухудшение учебы этого мальчика или же полная потеря прекрасной кофейни-кондитерской. Представьте, какая разница?

Но никто не хочет напрягать воображение и сравнивать его кофейню-кондитерскую с моей учебой. Тем более этого не хочет тетушка. Тетушка обращает свой взор, выражающий затравленность доброй женщины бесчувственными племянниками, на дядю Самуила:

– О, помогите несчастной!

– Восклицательный знак означает усиление интонации! – говорит дядя Самуил несколько хмуро. Он показывает своим голосом неизменность своего желания не отходить от фактов и в то же время самой хмуростью своей интонации как бы признает некоторую неуместную поспешность, проявленную им много лет назад, когда он похвалил мои математические способности. Дело в том, что именно эта моя домашняя работа была связана с неправильным решением арифметической задачи.

– Но почему три, Самуил? – умоляет тетушка.

– Усиление интонации! – повторяет дядя Самуил, упрямо давая знать, что расшифровывать усиление интонации не будет.

– С тремя восклицательными знаками даже брат твой не приносил, – говорит тетушка и смотрит на брата.

– Никогда! – подтверждает брат.

Я понимаю, что восклицательные знаки означают степень тревоги Александры Ивановны, а не что-нибудь другое. Но стоит ли сейчас оправдываться? Тем более что это займет лишнее время и тетушкин разбор может затянуться до прихода дяди.

– Пос! – читает тетушка следующую оценку, и, так как спектакль ужаса уже прошел эту степень, уже сцена удивления посредственной оценкой была продемонстрирована, она не знает, что сказать, и листает тетрадь дальше. Но дальше ничего нет.

– Дье, – говорит она, глядя на чистый разворот, как бы осознавая еще одну форму обмана, которую я ей неожиданно подсунул. Она несколько растеряна. Она хотела бы еще несколько новых сцен ужасов показать, а тут сама пьеса оборвалась. Она в растерянной задумчивости отворачивает назад последнюю страницу, словно взвешивая, не разыграть ли ее по-новому, но, видно, так и не решив, повторяет с выражением брезгливости: – Пос...

Сейчас в ее произношении эта оценка приобретает оттенок какого-то особого позора, какой-то жалкой бездарности. Словно я и не утонул в болоте, но и не вырвался на чистый берег, а так, все еще барахтаюсь в мерзостной тине возле берега. Уж лучше бы совсем утонул!

Тетушка, подпершись ладонью, сидит в горемычной позе.

– Хватит, отстань от мальчика, – говорит бабушка по-абхазски, чтобы дядя Алихан и дядя Самуил не поняли ее. Тетушка на ее слова не обращает никакого внимания. Она молча сидит за столом, подпершись ладонью, и голова ее слегка подрагивает, как бы подтверждая бесконечный, как жизнь, список разочарований, и одновременно это подрагивание головы означает старческую слабость.

– И вот на кого сгубила я свои лучшие годы, – говорит она, не меняя позы и только слегка усиливая подрагивание головы. Имеет в виду она меня и моего старшего брата.

– Я не согласен, – твердо возражает дядя Самуил и кивает на меня, – этого еще можно исправить... А старшего надо ремеслу учить...

Я сию, опустив голову, искоса следя за происходящим. Мне очень стыдно, но и стыдась, я помню, что будет еще стыдней, если дядя мой все это застанет. Поэтому никакого оправдания, ни одной щепки в этот костер.

– Нет, Самуил, не утешай меня, – говорит тетушка, не меняя позы и меланхолично вглядываясь в свою напрасно прожитую жизнь, – лучше бы я сюда совсем не возвращалась... Лучшие годы сгубила...

Тетушка была замужем за каким-то провинциальным персидским консулом, который в свое время жил в нашем городе, а потом увез ее в Персию. Потом она оттуда приехала без консула, одна. Об этом с детства говорили в нашем доме. И о том, что она, бросив консула, вернулась на родину, тоже говорили как-то естественно, словно консул этот от старости развалился и ей ничего не оставалось, как приехать домой.

Судя по легенде, похожей на правду, учитывая тетушкин темперамент, на свадьбе моей мамы, которая состоялась после ее приезда из Персии, тетушка танцевала целые сутки. И теперь я, вспоминая рассказы об этом, думаю все с той же рациональностью: как же она могла из-за нас покинуть Персию, когда нас, а среди нас в особенности меня, потому что я младший, когда нас тогда на свете не было?!

– Тетя, – говорю я, подымая голову, – но ведь когда ты возвращалась из Персии, нас не было на свете!

– Дье, – произносит тетушка и, протянув в мою сторону бессильную длань, замирает, как бы удивляясь, что я в моем положении еще смею разговаривать. Но вот она отводит бессильную руку и потухший взгляд в сторону бабушки и дяди Коли.

– А эти инвалиды? – говорит она устало. Получается, что никакой разницы между нами нет, все мы одна цепь, которую она тащит, надрываясь. Все оглядываются на бабушку и дядю Колю, словно впервые их замечая.

Дядюшка приосанивается, как бы подчеркивая правовую полноценность своего пребывания на кухне. Он не совсем понимает причину всеобщего внимания к нему и бабушке. Дело в том, что иногда он задерживается, уже выпив вечерний чай, и тогда (как он думает – с полным основанием) тетушка гонит его в постель.

Но сейчас-то он чаю не пил?! Вот напьюсь чаю, и мы с бабушкой пойдем спать, говорит он всем своим видом, а какого черта вы все на нас уставились, я не понимаю...

– Отстань от нас, – говорит бабушка несколько раздраженно. Скорей всего она не слышала, что тетушка сказала, но сам жест ее руки, выражающий, мол, вот они, мои гири, делает понятными ее слова.

– Отстань! – повторяет дядя, видя, что бабушка действует примерно в таком направлении. В то же время он более целенаправленно и сердито начинает смотреть на моего брата, потому что брат, воспользовавшись тем, что все обернулись в сторону бабушки и дяди, успел пригрозить ему, на что дядюшка быстро и охотно откликнулся. Все-таки это общее и расплывчатое внимание всех хотя и неприятно ему, но как-то слишком безадресно. Другое дело – вот этот мальчик пригрозил ему, вот отчетливо выявилась точка зла, и с ней он готов скрестить оружие. Он уставился на моего брата, взглядом предлагая вместо скрытой угрозы попробовать какое-нибудь открытое враждебное действие.

Но тут в кухонном окне, выходящем на веранду, мелькнула чья-то тень.

– Гости! – крикнул мой брат и вскочил. Дядя Коля отвел от него глаза.

Дверь в кухню открылась. В дверях стояла тетя Медея. Тетушка мгновенно преобразилась и расцвела, превратившись из трясущей головой старухи, загубившей свою молодость на двух балбесов, в цветущую тридцатипятилетнюю царевну-лебедь.

– Сколько лет, сколько зим! – говорит она, улыбаясь и подходя к тете Медее.

– Золотая моя, – отвечает ей тетя Медея, все еще щурясь от света, а тетушка смачно целует ее в губы.

– Как это ты догадалась, кто тебе подсказал зайти к нам, – говорит тетушка с певучей грузинской растяжкой слов, потому что тетя Медея грузинка. Я знаю, что тетушка это делает не из лести, а опять же из-за артистичности натуры, из наслаждения самой гибкостью своих возможностей. С кубанцами она говорит, незаметно впадая в гаканье, а с грузинскими евреями, очень плохо знающими русский язык, она говорит на такой тарабарщине, что сама запутывается и для простоты переходит на грузинский язык.

– Сейчас почаевничаем, скоро хозяин придет, – говорит тетушка, усаживая гостью на свое место, вытряхивает раковину пепельницы и подставляет ей. Тетя Медея закуривает и, несколько поерзав, усаживается в очень уютной скульптурной позе.

– Самовар, – показывает тетушка дяде Коле на самовар. Тот радостно вскакивает.

– Су, су, – по-турецки объясняет ему тетушка, чтобы он не только вынес на веранду и разжег самовар, но и принес из колодца (напротив через улицу) свежей воды.

– Вода? – перекрестно по-русски переспрашивает он у нее, чтобы не спутать чего-нибудь там.

– Да, да, воду, – кивает тетушка, и дядя хватается за самовар и вытаскивает его на веранду. Потом он со звоном схватывает ведра, стоящие на веранде, и бежит вниз по лестнице.

– Собаки! – раздается его яростный голос с лестницы. Это он гонит нашу собаку Белку.

В сущности говоря, чай у тетушки на кухне с небольшими перерывами пьется с самого обеда. Зайдет кто-нибудь, тетушка его угощает чаем и сама заодно пьет. Но самовар – это большое вечернее чаепитие. Вдруг тетушка, пошарив на кухонной полке, обнаруживает, что в железной коробке для чая нету чая.

– А где же чай? – спрашивает она, растерянно озираясь.

– Я только заварила свежий, – ворчливо замечает бабушка по-абхазски, – хватит на вечер.

– Чтобы я этими помоями поила лучшую из моих подруг?! – отвечает ей тетушка по-русски и потому несколько предательски по отношению к бабушке. Она с размаху выливает в помойное ведро всю заварку.

– Пойду на сон энциклопедию почитаю, – говорит дядя Самуил и непреклонно, словно сейчас все на нем повиснут, встает.

– Хорошо, Самуил, – говорит тетушка, как я думаю, с тайным удовольствием. Дядя Самуил, попросившись, выходит. Мне кажется, что тетушка с таким же удовольствием сейчас рассталась бы и с дядей Алиханом, но тот не собирается читать энциклопедию и продолжает сидеть. Он даже пытается остановить дядю Самуила, но тот непреклонно выходит.

– Сходишь к Мисропу, – говорит мне тетушка и сует деньги, – две пачки цейлонского чая и две пачки папирос «Рица»... Если у Мисропа не будет, сбегашь возле почты, а если там не будет, сбегашь возле аптеки...

– Хорошо, – отвечаю я, стараясь не взбаламутить воспоминаниями о моей учебе ее ясной деятельной радости по поводу прихода тети Медеи.

Тетушка быстро протирает тряпкой стол, на котором все еще лежит моя тетрадь. Я боюсь, как бы она при виде тетради снова не вспомнила обо всем, и с тайным трепетом и явным смирением тихо приподымаю тетрадь, как бы для того, чтобы освободить пространство для ее тряпки, ерзающей по клеенке. Нет, кажется, она прочно забыла про меня и про мои отметки.

Дядя Алихан подымает руки, чтобы дать ее тряпке поерзать возле него, и по тому, как она яростно действует возле него, я чувствую, что она не прочь была бы и его смести, как крошки со стола, потому что сейчас начинается другая жизнь и нужны совсем другие декорации.

– Если бы ты знала, что мне рассказали об этой Негодяйке, – говорит тетя Медея с каким-то горестным торжеством и, выпустив клуб дыма в потолок, складывает руки на груди, красиво отодвинув ладонь с дымящейся папиросой, зажатой между длинными худыми пальцами.

– Потом расскажешь, – почти воркует тетушка и достает с кухонной полки банку с айвовым вареньем. Тетя Медея любит айвовое варенье.

Я хватаю деньги и тетрадь и бегу вниз. Оставляю тетрадь дома и бегу на улицу.

– Ты куда? – успевает окликнуть меня мама.

– За чаем послали, – кричу я, не останавливаясь, и бегу дальше.

На миг, вспомнив одинокую фигуру мамы, сидящей под лампой и штопающей носок, я чувствую укол стыда: мама вечно дома одна, а мы почти каждый вечер собираемся у тетушки на кухне, как в клубе. Но это мгновенное озарение быстро проходит. Я бегу по теплой вечерней улице, с уютно, по-южному распахнутыми окнами, с зажженным светом в окнах, с уютными кучками соседей, сидящих на порожках своих домов.

Какая-то сила заставляет меня бежать все быстрее и быстрее, не останавливаясь. Я мечтаю, чтобы у Мисропа, это ближайшая к нам лавка, не оказалось цейлонского чая или папирос «Рица», чтобы мне пришлось обежать весь город, и еще я мечтаю, жарко, сладостно, с завтрашнего дня начать новую жизнь: не засиживаться у тетки, не ходить с ней в кино на поздние сеансы, высыпаться и хорошо делать уроки, чтобы никогда, никогда не повторялся этот позорный кошмар.

Встречный ветер выдувает из меня остатки испытанного стыда, промывает меня свежестью. Именно потому, что я твердо решил с завтрашнего дня начать новую жизнь, я с какой-то жадной яркостью представляю, как будет приятно сегодня допоздна засидеться на тетушкиной кухне и вбирать в себя разговоры взрослых, из которых встают странные, соблазнительные, подлинные в своей глуповатости картины взрослой жизни. А потом уже где-то в первом часу, если мать не загонит домой раньше, спуститься вниз, с головой, разгоряченной и опухшей от табачного дыма, и потихоньку лечь спать.

Здесь внизу у мамы – суховатая необходимость, долг. Там – сладость излишка, страсть. Моя детская душа бьется между этими двумя полюсами, еще не ведая, что они – полюса. Мать – долг. Тетушка – страсть.

Мой дядя самых честных правил...

Когда ребята с нашей улицы начинали хвастаться своими знаменитыми родичами, я молчал, я давал им высказаться.

Военные проходили по высшей категории. Но и среди военных была своя особая, под- сказанная мальчишеским воображением субординация. На первом месте были пограничники, на втором – летчики, на третьем – танкисты, а потом остальные. Пожарники проходили вне конкурса.

Тогда еще не было войны, а у меня, как назло, ни один родственник не служил в армии. Но я имел свой особый козырь, которым пользовался довольно успешно.

– А у меня дядя сумасшедший, – говорил я спокойным голосом, отодвигая на некоторое время слишком реальных героев своих товарищей. Сумасшедший – это необычно, а главное, почти недоступно. Летчиком и пограничником можно стать, если хорошо учиться, так, по крайней мере, утверждали взрослые. А они, конечно, знали что к чему. А сумасшедшим не станешь, будь ты самым что ни на есть отличником. Конечно, если не заучиться. Но нам это не грозило.

Одним словом, сумасшедшим надо родиться, или в детстве удачно упасть, или заболеть менингитом.

– А он настоящий? – спрашивал кто-нибудь из ребят недоверчиво.

– Конечно, – говорил я, ожидая этого вопроса. – У него справки есть, его смотрели профессора.

Справки вправду были, они лежали у тетки в швейной машинке «Зингер».

– А почему он не в сумасшедшем доме живет?

– Его бабушка туда не пускает.

– А вы не боитесь его по ночам?

– Нет, мы привыкли, – говорил я спокойно, как экскурсовод, ожидая следующих вопросов. Иногда задавали глупые вопросы, вроде того, не кусается ли он, но я оставлял их без внимания.

– А ты не сумасшедший? – догадывался кто-нибудь спросить, глядя на меня пронизательными глазами.

– Немножко могу, – говорил я со скромным достоинством.

– Интересно, кто победит: Фран-Гут или сумасшедший? – бросал кто-нибудь, и сразу же возникали десятки интересных предположений. Фран-Гут был знаменитым борцом из проезжего цирка шапито. Он был негр, и поэтому мы все за него болели.

Дядя жил на втором этаже нашего дома вместе с тетей, бабушкой и остальной родней. Существовали две фамильные версии, объясняющие его не вполне обычное состояние. По первой из них получалось, что это случилось с ним в детстве после болезни. Это была неинтересная и потому маловероятная версия. По второй, которую распространяла тетка и в конце концов заглашала бабушкины воспоминания, оказывалось, что он в ранней юности упал с арабского скакуна.

Тетя почему-то не любила, когда его называли сумасшедшим.

– Он не сумасшедший, – говорила она, – он душевнобольной.

Это звучало красиво, но непонятно. Тетя любила приукрашивать действительность, и это ей отчасти удавалось. Но все-таки он был настоящий сумасшедший, хотя и почти нормальный.

Обычно он никого не трогал. Сидел себе на скамеечке на балконе и пел песенки собственного сочинения. В основном это были романсы без слов.

Правда, иногда на него находило. Он вспоминал какие-то старые обиды, начинал хлопать дверьми и бегать по длинному коридору второго этажа. В таких случаях лучше было не попа-

даться ему на глаза. Не то чтобы он обязательно чего-нибудь натворил, но все же лучше было не попадаться. Если при этом бабушка оказывалась дома, она его довольно быстро приводила в себя. Бабка заворачивала ему ворот рубахи и бесцеремонно подставляла его голову под кран. После хорошей порции холодной воды он успокаивался и садился пить чай.

Словарь его, как у современных поэтов-песенников, был предельно сжат. Вытряхните на стол тетрадь второклассника – там будут все слова, которыми дядюшка обходился при жизни. Правда, у него было несколько выражений, которые явно не встретишь в тетради второклассника и даже в книге не встретишь. Он употреблял их, как и нормальные люди, в минуты наибольшего душевного подъема. Из них можно воспроизвести только одно: «Удушью мать».

Говорил он в основном по-абхазски, но ругался на двух языках: по-русски и по-турецки. По-видимому, в память они ему врезались по степени накала. Отсюда можно заключить, что русские и турки в минуту гнева выдают выражения примерно одинаковой эмоциональной насыщенности.

Как все сумасшедшие (и некоторые несумасшедшие), он был очень сильным. Дома он выполнял всякую работу, не требующую большой сообразительности. Сливал помои, таскал свежую воду, когда еще не было водопровода, приносил базарные сумки, колол дрова. Работал добросовестно и даже вдохновенно. Когда мощная струя помоев, описав крутую траекторию со второго этажа, глухо шлепалась в яму, бродячие кошки, возившиеся в ней, взлетали, как бы подброшенные взрывной волной.

Бабушка его жалела, она считала, что он может надорваться на работе. Иногда, в дни генеральной уборки, она насильно укладывала его в постель и объявляла, что он заболел. Она перевязывала ему голову или щеку, и он лежал растерянный и несколько смущенный мистификацией. В конце концов ему надоедало лежать, и он пытался подняться, но бабушка снова заталкивала его в постель. Заставить работать его в такие часы было невозможно. Он пожимал плечами и говорил: «Бабушка не разрешает». Он бабушку называл бабушкой, хотя она ему была мамой. Такой уж он был, со странностями.

Дядя был удивительно чистоплотен. Нам, детям, всегда его ставили в пример. Я с тех пор, как увижу слишком чистоплотного человека, не могу избавиться от мысли, что у него в голове не все в порядке. Я, понятно, ему об этом не говорю, но так, для себя, имею в виду.

Словом, дядя был ужасно чистоплотным. Бывало, не подходи, когда он тащит свежую воду или сумку с провизией или садится есть. А уж руки мыл каждые десять-пятнадцать минут. Его за это ругали, потому что он протирал полотенце, но отучить не могли. Бывало, пожмет ему кто-нибудь руку, он тут же бежит к умывалке. Взрослые часто потешались над этим и нарочно здоровались с ним по многу раз на день. Из какого-то такта дядя Коля не мог не подать руки, хотя и понимал, что его разыгрывают.

Больше всего на свете он любил сладости, из всех сладостей – воду с сиропом. Если нас посылали с ним на базар и мы проходили мимо ларька с фруктовыми водами, он, обычно не склонный к сантиментам, трогал меня рукой и, показывая на цилиндрики с разноцветными сиропами, застенчиво говорил: «Коля пить хочет».

Приятно было угостить взрослого седоглавого человека сладкой водичкой и чувствовать себя рядом с ним человеком пожившим, добрым и снисходительным к детским слабостям.

А еще он любил бриться. Правда, это удовольствие ему доставляли не так уж часто. Примерно раз в месяц. Иногда его посылали в парикмахерскую, но чаще его брила сама тетка.

Бритье он воспринимал серьезно. Сидел не морщась и не шевелясь, пока тетка немилосердно скребла его намыленную, горделиво приподнятую голову. В такие минуты можно было из-за теткой спины показывать ему язык, грозить кулаком, он не обращал никакого внимания, погруженный в парикмахерский кейф. И это несмотря на то, что борода и особенно волосы на голове, как бы возросшие на целинных землях, густо курчавились и отчаянно сопротивлялись бритве. Иногда тетка просила меня подержать ему ухо или натянуть кожу на шее.

Я, конечно, охотно соглашался, понимая всю недоступность такого удовольствия в обычных условиях. С несколько преувеличенным усердием я держал его большое смуглое ухо, завораживая его в нужном направлении и рассматривая шишки мудрости на его голове.

Обычно похожий на добродушного пасечника с курчавой бородой, после бритья он резко менялся: лицо его принимало брезгливо-надменное выражение римского сенатора из учебника по истории Древнего мира. В первые дни после бритья он становился замкнутым и даже высокомерным, потом постепенно римский сенатор уходил в глубь бороды и выступал добродушный демократизм деревенского пасечника.

Я бы не сказал, что он страдал манией величия, но, проходя мимо памятника в городском сквере, он испытывал некоторое возбуждение и, кивая на памятник, говорил: «Это я». То же самое повторял, увидев портрет человека, поданный крупным планом в газете или журнале. Ради справедливости надо сказать, что он за себя принимал любое изображение мужчины в крупном плане. Но так как в этом виде почти всегда изображался один и тот же человек, это могло быть понято как некоторым образом враждебный намек, опасное направление мыслей и вообще дискредитация. Бабушка пыталась отучить его от этой привычки, но ничего не получилось.

– Нельзя, нельзя, комиссия! – грозно говорила бабушка, тыкая пальцем в портрет и отлучая дядю от него, как нечистую силу.

– Я, я, я, – отвечал ей дядя радостно, постукивая твердым ногтем по тому же портрету. Он ничего не понимал.

Я тоже ничего не понимал, и опасения взрослых мне казались просто глупыми.

Комиссии дядя действительно боялся. Дело в том, что соседи, исключительно из чело-веколюбия, время от времени писали анонимные доносы. Одни из них указывали, что дядя незаконно проживает в нашем доме и что он должен жить в сумасшедшем доме, как и все нормальные сумасшедшие. Другие писали, что он целый день работает и надо проверить, нет ли здесь тайной эксплуатации человека человеком.

Примерно раз в год являлась комиссия. Пока члены ее опасливо подымались по лестнице, тетя успевала надеть на него новую праздничную рубашку, давала ему в руки бабушкины четки и грозным шепотом приказывала ему сидеть и не двигаться. Члены комиссии, несколько сконфуженные своим необычным делом, извинялись и задавали тетке необходимые вопросы, время от времени поглядывая на дядю со скромным любопытством. Тетя извлекала из зингеровской машинки дядины документы.

– У него золотой характер, – говорила она. – А физический труд ему полезен. Об этом сам доктор Жданов говорил. Да и что он делает? Пару ведер воды принесет от скуки, вот и все.

Пока она говорила, дядя сидел за столом, деревянно сжимая четки, и глядел прямым немигающим взглядом деревенской фотографии.

Перед уходом кто-нибудь из членов комиссии, освоившись и осмелев, спрашивал у дяди:

– Нет ли жалоб?

Дядя вопросительно смотрел на бабушку, бабушка на тетю.

– Он у нас плохо слышит, – говорила тетя с таким видом, как будто это был его единственный недостаток.

– Жалобы, говорю, есть? – громче спрашивал тот.

– Батум, Батум... – задумчиво, сквозь зубы цедил дядя. Он начинал злиться на всю эту комедию, потому что про Батум он вспоминал в минуты крайнего раздражения.

– Ну, какие у него могут быть жалобы? Он шутит, – говорила тетя, очаровательно улыбаясь и провожая комиссию до порога. – Он у меня живет как граф, – добавляла она крепнувшим голосом, глядя в спину уходящей комиссии. – Если бы некоторые эфиопки смотрели за своими мужьями, как я за своим инвалидом, у них не было бы времени сочинять армянские сказки.

Это был вызов двору, но двор, притаившись, трусливо молчал.

После ухода комиссии праздничную рубашку с дяди снимали и тетя назло соседям послала его за водой. Гремя ведрами, он радостно бросался в путь, явно предпочитая коммунальным фокусам свое древнее занятие водноса.

Больше всего на свете дядя не любил кошек, собак, детей и пьяных. Не знаю, как насчет остальных, но в нелюбви к детям отчасти виноват и я.

За многие годы я хорошо изучил все его наклонности, привязанности, слабости. Любимым занятием моим было дразнить его. Шутки порой бывали жестокими, и я теперь в них каюсь, но сделанного не вернешь. Единственное, что в какой-то мере утешает, это то, что и мне от него доставалось немало тумачков.

Бывало, в сырой зимний день сидим в теплой кухне. Бабушка возится у плиты, рядом дядя на скамеечке, а я сижу на кушетке и читаю какую-нибудь книгу. Потрескивает огонь, посвистывает чайник, мурлычет кошка. В конце концов этот тихий, сумасшедший уют начинает надоедать. Я все чаще откладываю книгу и смотрю на дядю. Дядя смотрит на меня, потому что знает, что рано или поздно я должен выкинуть какую-нибудь штучку. И, так как он знает это и ждет, я не могу удержаться.

Простейший способ нарушить его спокойствие – это долго и пристально смотреть ему в глаза. Вот он начинает ерзать на стуле, потом опускает глаза и рассматривает свои большие руки, но я прекрасно знаю, о чем он думает. Потом он быстро поднимает глаза, чтобы узнать, смотрю я или нет. Я продолжаю смотреть. Я даже занимаю спокойную, удобную позу. Она должна внушить ему, что смотреть на него я намерен долго и это не составляет для меня большого труда. Он начинает беспокоиться и вполголоса говорит:

– Этот дурачок меня дразнит.

Он не хочет раньше времени подымать ненужный шум. Он говорит для меня. Он как бы репетирует передо мной свою будущую жалобу.

Я продолжаю упорно смотреть. Бедняга отворачивается, но ненадолго. Ему хочется узнать, продолжаю ли я смотреть. Я, конечно, смотрю. Тогда он прикрывает глаза ладонью. Но и это не помогает. Ему хочется узнать, оставил ли я его в покое в конце концов. Он слегка, думая, что я этого не замечаю, растопыривает ладони и смотрит в щелочку. Я гляжу как ни в чем не бывало. Тогда раздражается скандал.

– Он смотрит на меня, я его убью! – кричит дядюшка, и злые огни вспыхивают в его глазах. Я мгновенно отвожу взгляд на книгу, а потом подымаю голову с видом человека, неожиданно оторванного от своих мирных занятий.

– Что же, ему глаза выколоть, что ли? – говорит бабушка и, дав ему легкий подзатыльник, советует не смотреть в мою сторону, раз уж мой вид так его раздражает.

Но иногда, доведенный до ярости более злыми шутками, он сам дает подзатыльники, хватая полено или кочергу, и тогда наступает страшная минута. Особенно если нет рядом бабушки или взрослых сильных мужчин. «Боженька, – шепчу я про себя, – спаси на этот раз, и тогда я никогда в жизни не буду его дразнить. И буду всегда тебя любить и даже вместе с бабушкой тебе молиться. Вот увидишь, ты только спаси». Но видно, я не слишком надеюсь на боженьку, тем более что каждый раз его подвожу. Несмотря на страх, сознание работает быстро и четко. Бежишь, если дядя еще не отрезал путь к дверям. Но если бежать уже невозможно, единственное спасение – неожиданно подойти к нему и, низко наклонившись, подставить голову: бей. Это довольно жуткая минута, потому что перед тобой вооруженный безумец, да еще в ярости.

Но, видно, эта жалкая поза, эта полная покорность судьбе его обезоруживают. Какое-то врожденное благородство его останавливает от удара. Он мгновенно гаснет. Бывало, только оттолкнет брезгливо и отойдет, в недоумении пожимая плечами на то, что люди могут быть такими дерзкими и такими жалкими одновременно.

Однажды я прочитал замечательную книжку, где шпион притворялся глухонемым, но потом его разоблачили, потому что он во сне заговорил по-немецки. Один наш контрразведчик нарочно выстрелил над его головой, но он даже не вздрогнул. Он был сильной личностью. Но во сне он переставал быть сильной личностью, потому что спал. И вот он заговорил по-немецки, а мальчик его разоблачил. Другой мальчик тоже слышал, как шпион говорит во сне, но не мог его разоблачить, потому что плохо занимался по-немецки и не понял, по-какому тот говорит. Но главное не это. Главное, что шпион притворялся глухонемым.

Мысль моя сделала гениальный скачок: я понял, что дядя мой совсем не сумасшедший, а самый настоящий шпион. Единственное, что меня немного смущало, это то, что бабка его помнила с детских лет. Но и это препятствие я быстро опрокинул. Его подменили, догадался я. Сумасшедший дядя был, но шпионы изучили его повадки и словечки и в один прекрасный день дядю выкрали, а вместо него подсунили шпиона. А брезгливым он притворяется нарочно, чтобы его кто-нибудь не отравил.

Я вспомнил, что в его поведении было много подозрительного. Иногда он что-то записывал на листках бумаги цветными карандашами. Бумажки эти он тщательно прятал. Я, конечно, заглядывал в них, но раньше они мне казались каракулями неграмотного человека. Здорово же он нас обманывал! А удочки!

Дядя иногда ходил на море ловить рыбу. В этом не было бы ничего странного, ведь и нормальные люди увлекаются рыбной ловлей. Но дело в том, что на удочке его не было крючков. А мы еще смеялись над ним. Может быть, внутри удилища был тайный радиоприемник и он передавал сведения вражеской подводной лодке?

Мозг мой пылал. Мысленно я уже читал в «Пионерской правде» большой заголовок: «Пионер разоблачил шпиона. Дети, будьте бдительны!»

Дальше шел мой портрет и рассказ, который начинался такими словами:

«С некоторых пор пионер такой-то (то есть я) стал тихим и грустным. Его близорукие родители (то есть мои родители) считали, что он заболел. На самом деле он обдумывал, как разоблачить матерого шпиона, который долгое время выдавал себя за сумасшедшего дядю. Нелегко было пойти на такой шаг. Но пионер не растерялся. Это была борьба нервов». И дальше в таком же духе и даже еще лучше.

Первым делом надо было выкрасть удочку и проверить ее. Она лежала у дяди под кроватью. К постели своей он меня близко не подпускал, все из той же якобы брезгливости. Но я воспользовался случаем, когда его послали за водой, вытащил удилище из-под кровати, взял напильник и тайком, в огороде, стал распиливать суставчатое тело бамбука. Я распилил каждое звено, но удилище оказалось пустым. Я не впал в уныние, а обратил внимание на то, что самое первое звено у основания удилища не имело естественной перегородки, она была проломана, и туда можно было просунуть палец. Все ясно! Он туда просовывает свой приемничек, а потом вынимает и прячет. Ну и хитрец! Я закопал удилище в огороде и стал обдумывать, что делать дальше.

Надо было спешить, пока он не обнаружил, что у него пропала удочка. Но вот тетка ушла из дому по своим делам, бабушка вышла на двор посидеть в холодке, а я поднялся наверх. Дядя, как обычно, сидел в кухне и, глядя через окно в коридор, следил, чтобы никто из чужих не проник в дом. Я пошел в кухню и сел против него за стол. Главное, решил я, напор и неожиданность. Он думает, что начну дразнить, а на самом деле...

– Ваша карьера окончена, подполковник Штауберг, – сказал я отчетливо и почувствовал, как на спине моей выступает гусиная кожа, подобно пузырькам на поверхности газированной воды.

Не знаю, откуда я взял, что он подполковник Штауберг. Видимо, я доверял интуиции, как и многие гениальные контрразведчики, о которых читал, в том числе сам майор Пронин.

– Отстань, – сказал дядя мне в ответ тем тоскливым голосом, каким он говорил, когда чувствовал, что я начинаю его дразнить, а у него не было охоты связываться со мной.

Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Железный человек», – подумал я, восторженно содрогаясь и продолжая делать то, что положено было делать в эту минуту.

– Вы неплохо сыграли свою роль, но и мы не дремали, – великодушно отдавая дань ловкости врага, сказал я. Слова приходили точные и крепкие, они вселяли уверенность в правоте дела.

– Мальчик сумасшедший, – сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения. Он всегда меня называл мальчиком, как будто у меня не было своего имени.

«Увиливает, шельма», – подумал я, задыхаясь от вдохновения, и решил, что пора намекнуть ему кое на что.

– Рыбка не клюет? – спросил я, проникательно улыбаясь и глядя ему в глаза. – Море волнуется или удочка не годится?

– Удочка? – повторил он, и в его тусклых глазах мелькнуло подобие мысли.

– Вот именно, удочка, – сказал я, поняв, что ухватился за то самое звено, при помощи которого можно, не слишком громыхая, вытащить и всю цепь.

– Моя удочка? – повторил он, начиная что-то соображать.

– Вы попались на свою удочку, подполковник! – сострил я и, откинувшись на стуле, стал ждать, что будет дальше.

– Удочка, удочка, удушю мать! – пробормотал он в сильном волнении и, что-то окончательно себе уяснив, ринулся к дверям.

– Ни с места! – крикнул я. – Дом оцеплен!

– Батум! – крикнул он и побежал в комнату.

Я немного растерялся. Вместо того чтобы с достоинством сдать и сказать: «На этот раз вы меня перехитрили, лейтенант...» – он побежал искать удочку, как будто это имело какое-нибудь значение.

Через несколько минут он влетел в комнату, и все перепуталось.

– Украд удочку! – кричал он в ярости, пытаясь схватить меня.

– Добровольное признание облегчит вашу участь! – кричал я в ответ, бегая вокруг стола и сваливая ему под ноги стулья испытанным приемом английской разведки.

– Вор! Удочка! Удушю мать! – кричал он, возбуждаясь от схватки.

– Назовите сообщников! – орал я в ответ, срезая угол стола. В этом было мое спасение, потому что тормозить он не умел и, промахиваясь, пробежал мимо. Все-таки ему иногда удавалось шлепнуть меня через стол или ткнуть кулаком вдогонку.

Я знал, что борьба нервов может быть ужасной, но, когда один бьет, а другой только изворачивается, рано или поздно победит тот, кто бьет.

В конце концов я вскочил на кушетку и, отбиваясь ногой, изо всей силы закричал:

– Бабушка!

Она и так уже подымалась по лестнице. Видимо, грохот нашей схватки был слышен во дворе. Увидев ее, бедняга бросился к ней и стал оправдываться. Кстати, это ему почти никогда не удавалось. Нормальному человеку и то трудно оправдаться, а уж такого и слушать никто не хочет.

– Удочка, удочка, – лепетал он, растеряв от волнения и те немногие слова, которые знал.

И вдруг я почувствовал к нему жалость, я как-то понял, что никогда в жизни он не сможет толком оправдаться. А ведь я и в самом деле испортил ему удочку. Но признаться в том, что сам кругом виноват, смелости не хватило. И не только смелости. Я знал, что взрослые привыкли в таких случаях считать его виноватым, и догадывался, что им будет неприятно менять свою удобную привычку и принимать во внимание более сложные соображения.

Я сказал, что он на меня напал, но побить все же не успел. Это был примиренческий выход, к сожалению, самый распространенный.

В связях с иностранной разведкой я его больше не подозревал.

Как я ни откладывал, но теперь мне придется рассказать о его великой любви, которую он, к сожалению, никак не мог скрыть от окружающих. Он был влюблен в тетю Фаину. Об этом знали все, и взрослые смачно толковали о его страсти, мало озабоченные тем, что их слушают не вполне подготовленные дети.

Я до сих пор не пойму, почему он выбрал именно ее, самую замызганную, самую конопатую, самую глупую из женщин нашего двора. Я далек от утверждения, что среди них можно было найти Суламифь или Софью Ковалевскую. Но все-таки он выбрал самую некрасивую и самую глупую. Может быть, он чувствовал, что путь между их духовными мирами наименее утомителен?

Тетя Фаина была портнихой. Она обшивала наш двор. В основном ей поручали перешивать старые вещи, детские рубашонки, трусы и всякую мелочь.

– Оборочки, манжетки, – говорила она, суетливо обмеривая заказчика сантиметром и стараясь казаться настоящим мастером.

Шила она, видимо, плохо, да и платили ей за работу очень мало, а иногда и ничего не давали, в счет будущих заказов.

– Спасибо, Фаиночка, сочтемся, – говорили ей при этом.

– За спасибо хлеба не купишь, – отвечала она, горестно усмехаясь с некоторой долей отвлеченной обиды в голосе, как бы обижаясь не на заказчиков, а на тех, кто не продает хлеб за спасибо.

В свободное от работы время, а иногда и одновременно с работой тетя Фаина ругалась со своей ближайшей соседкой, одинокой молодой женщиной неопределенных занятий. Звали ее тетя Тамара. Иногда вечерами к ней в гости приходили матросы. Они пели замечательные протяжные песни, а тетя Тамара им подпевала. Получалось очень красиво, но нас почему-то туда не пускали. Соседки не любили тетю Тамару, но побаивались ее.

– Она дерется как мужчина, – говорили они.

Тетя Фаина и тетя Тамара всегда ругались. Дело в том, что они обе были рыжие. А рыжие между собой никогда не уживаются, тем более по соседству. Они терпеть друг друга не могут.

– Рыжая команда! – бывало, кричит тетя Тамара, стоя у бельевого веревки, увешанная прищепками, как пулеметными лентами.

– Ты сама рыжая, – отвечает тетя Фаина вполне справедливо.

– Я не рыжая, я блондинка лимонного цвета, – усмехается тетя Тамара.

– К тебе матросы ходят, – нервничает тетя Фаина.

– Интересно, кто к тебе пойдет? – ехидно говорит тетя Тамара.

– У меня муж есть, – доказывает тетя Фаина, – все знают моего мужа, он честный человек.

– Начхала я на твоего мужа, – как-то обидно говорит тетя Тамара и, развесив белье, удаляется в комнату.

Бедный дядя был влюблен в эту самую тетю Фаину. Как я теперь понимаю, это была самая бескорыстная и долговечная любовь из всех, которые я встречал в своей жизни. Та святая слепота, которая делает мужчину крылатым или сумасшедшим, была обеспечена ему от рождения.

Ему ничего не надо было от любимой, только находиться поблизости, видеть ее крымские веснушки цвета свежей барабульки и слышать ее голос профессиональной плакальщицы.

Когда она приходила к тете что-нибудь шить, он усаживался рядом и смотрел на нее томными глазами.

– И за что только он меня так любит? – говорила она, если у нее было хорошее настроение.

Дядя и дня не мог прожить без нее. Возле комнаты тети Фаины была кухонная пристроечка, собственно говоря, базарный ларечек, купленный по дешевке ее мужем. Целыми днями она возилась в этой кухоньке, время от времени выглядывая во двор, чтобы увидеть, кто куда прошел, и стараясь угадать у соседок по выражению их лиц, не дают ли где-нибудь дефицитных товаров. Когда она выглядывала оттуда, вид у нее был какой-то испуганный, как будто она боялась, что, пока она возится с обедом, может упустить что-то важное для жизни или кто-нибудь ее просто прихлопнет. Такой вид бывает у птицы, которая увлеченно что-то клюет, а потом вдруг вспомнит про опасность, быстро подымает голову и осторожно озирается.

Так вот, дядя обычно подходил к этой кухоньке с тыльной стороны и, наклонившись к фанерной стене, следил за ней в щелочку. Он ничего не мог увидеть, кроме ее стряпни, но, видимо, этого ему было достаточно. Так он мог стоять часами и наблюдать за ней, пока она не выходила из себя и не кричала тете через весь двор:

– Скажите ему, что у меня есть муж, он опять за мной ухаживает!

Тетя гнала его домой и ругала, правда, больше для виду. Застигнутый на месте преступления, бедняга чувствовал постыдность своей страсти и, проходя мимо тети, неопределенно пожимал плечами, показывая, что это сильнее его.

– Купите ему воду с двойной сироп, и пусть он успокоится, – советовала тетя Фаина.

Но, видимо, вода с двойным сиропом была слишком слабым утешением. Через час или два дядя сбегал из-под надзора бабушки и снова проникал в заветный уголок.

Вечером, когда приходил с работы муж тети Фаины, она рассказывала ему о своих дневных горестях, не забывая и дядю. Муж ее был косоглазый сапожник, мирный и добрый человек.

– Я люблю, когда все тихо. Моя жена никому не мешает, – говорил он полугромко, так, чтобы никто не обижался, но было видно, что он защищает свою жену. При этом он затыкал или замазывал замазкой очередную дырочку, пробитую дядей в кухонной стене.

Взрослые часто говорили об этой необычной любви. Видимо, для многих из них она сама по себе была достаточно ненормальным признаком.

Говорили при нем, думая, что он ничего не понимает. Но я уверен, что тут он догадывался, о чем идет речь. В такие минуты я замечал в глазах его выражение страдания и стыда, замечал мелкое дрожание губ, а иногда невольный протестующий жест рукой. Как будто он хотел сказать: отстаньте, как вам не стыдно!

Он любил ее до конца своих дней, так ни разу не удостоившись внимания своей жестокой возлюбленной.

Умер дядя вскоре после бабушки. Он по ней очень скучал и все спрашивал, куда она уехала, хотя она умерла при нем. О смерти ее он быстро забыл, но о жизни помнил, потому что эта жизнь окружала его безумие человеческой теплотой и любовью. Ведь неразумных детей матери любят сильнее – они больше других нуждаются в их защитной любви.

Тетя потом говорила, что перед самой смертью к дяде пришла ясность ума, как будто судьба на мгновение решила ему показать, каково быть в здравом рассудке. И это вдвойне жестоко, потому что такой короткой вспышки могло хватить только на то, чтобы ощутить всю бесчеловечность перехода из одной пустоты в другую.

Но я думаю, что тете это только показалось. Она любила, чтобы все было красиво, а для этого ей приходилось многое преувеличивать.

Сейчас я жалею, что ничего хорошего ему в жизни не успел сделать. Разве что угощал его сладкой водичкой да в баню с ним ходил. Он очень любил мыться. В бане он ничем не отличался от остальных посетителей и только больше других стеснялся, каким-то библейским жестом руки стараясь прикрыть свою наготу.

Я вспоминаю чудесный солнечный день. Дорога над морем. Мы идем в деревню. Это километров двенадцать от города. Я, бабушка и он. Впереди дядя, мы едва за ним поспеваем. Он обвешан узелками, в руках у него чемоданы, а за спиной самовар. Начало лета. Еще не

пыльная зелень и не знойное солнце, а навстречу упругий морской ветерок, дорожной сладостью новизны охлаждающий грудь. Бабушка попыхивает сигаркой, постукивает палкой, а впереди дядя с солнечным самоваром за спиной. И он поет свои бесконечные песенки, потому что ему хорошо и он чувствует бодрую свежесть летнего дня, заманчивость этого маленького путешествия.

Нет, все-таки жизнь и его не обделила счастливыми минутами. Ведь он пел, и пенье его было простым и радостным, как пенье птиц.

Время счастливых находок

Вот что было со мною в детстве.

Как-то летним вечером собрались гости у моего дяди. Выпивки не хватило, и меня послали за вином в ближайшую лавку, что было, как я теперь понимаю, не вполне педагогично. Правда, сначала предложили пойти моему старшему брату, но он заупрямился, зная, что в ближайшие часы его никто не накажет, а до завтра он все равно выкинет что-нибудь такое, за что и так придется держать ответ.

Бегу босиком по теплой немощенной улице. В одной руке бутылка, в другой деньги. Отчетливо помню: какое-то необычайное возбуждение, восторг пронизывают меня. Разумеется, это было не предчувствие предстоящей покупки, потому что в те годы к этому делу я не проявлял особого интереса. Да и сейчас интерес вполне умеренный.

Чем прекрасно вино? Только тем, что оно гасит наши личные заботы, когда мы пьем со своими друзьями, и усиливает то общее, что нас связывает. И если даже нас связывает общая забота или неприятность, вино, как искусство, преображающее горе, примиряет и дает силы жить и надеяться. Мы испытываем обновленную радость узнавания друг друга, мы чувствуем: мы люди, мы вместе.

Пить с любой другой целью просто-напросто малограмотно. А одиночные возлияния я бы сравнил с контрабандой или с каким-нибудь извращением. Кто пьет один, тот чокается с дьяволом.

Я повторяю – по дороге в лавку меня охватило какое-то странное возбуждение. Я бежал и все время смотрел под ноги: мне мерещилась пачка денег. Время от времени она появлялась у меня перед глазами, и я даже приостанавливался, чтобы убедиться, так это или нет. Я понимал, что все это мне только кажется, но видел до того ясно, что не мог удержаться. Убедившись, что ничего нет, я еще более восторженно верил, что должен найти деньги, и летел дальше.

Я вбежал по деревянным ступеням, лавка стояла как бы на трибунке, и быстро сунул деньги и бутылку продавцу. Пока он приносил вино, я в последний раз посмотрел себе под ноги и увидел пачку денег, перепоясанную довоенной тридцаткой.

Я поднял деньги, схватил бутылку и помчался назад, полумертвый от страха и радости.

– Деньги нашел! – закричал я, вбегая в комнату. Гости нервно, а некоторые даже оскорбленно вскочили на ноги. Поднялся переполох. Денег оказалось сто с чем-то рублей.

– Я тоже сбегая! – закричал мой брат, загораясь запоздалым светом моей удачи.

– Жми! – закричал шофер дядя Юра. – Это я первый сказал, что надо выпить. У меня легкая рука.

– И даже слишком, – ехидно вставила всегда спокойная тетя Соня.

– Однажды у нас в Лабинске... – начал было дядя Паша. Он всегда рассказывал или про свою язву желудка, или про то, как раньше жили на Кубани. Начинал с того, как раньше жили на Кубани, а кончал язвой желудка или наоборот. Но сейчас дядя Юра его перебил.

– Это я сказал первый! Мне магарыч! – шумел он. Бывало, как заведется – не остановишь.

– Почему ты первый? Я, например, не слышал, – угрюмо возразил дядя Паша.

– Ты же сам говорил, что тебя белоказак рубанул шашкой по уху!

– Так то левое ухо, а ты справа сидишь, – сказал дядя Паша, довольный тем, что перехитрил дядю Юру, и привычным движением отогнул огромной рабочей рукой свое ухо. Над ухом была вдавлинка, в которую спокойно можно было вложить грецкий орех. Все с уважением осмотрели шрам от казацкой шашки.

– Помню, как сейчас, стояли под Тихорецком, – начал было дядя Паша, воспользовавшись вниманием гостей, но дядя Юра опять его перебил:

– Если мне не верите, пусть он сам скажет. – И все посмотрели на меня.

В те времена я любил дядю Юру, да и всех сидящих за столом. Мне хотелось, чтобы все радовались моей удаче, чтобы все были соучастниками ее и ни у кого не было преимущества.

– Все сказали, – изрек я восторженно.

– Я не говорю, что не все сказали, но кто первый, – заревел дядя Юра, но голос его потонул в шуме, потому что все радостно захлопали в ладоши: очень уж дядя Юра всегда старался вырваться вперед.

– О, Аллах, – сказал дядя Алихан, самый мирный и тихий человек, потому что он был продавцом козинаков, – мальчик нашел деньги, а они шумят. Лучше выпьем за его здоровье, да?

Мужчины зашумели и стали, перебивая друг друга, пить за мое здоровье.

– Я всегда знал, что из него выйдет человек...

– С этим маленьким бокалом...

– Молодым везде у нас дорога...

– За счастливое детство...

– Дорога, но какая дорога? Асфальт!

– За эту жизнь, – провозгласил последним дядя Фима, – мы дрались, как львы, и львиная доля из нас осталась на поле.

– Он будет, как вы, ученым, – вставила тетя, чтобы успокоить его.

– И даже лучше, – крикнул дядя Фима и, забросив меня на неслыханную высоту, выпил свой стакан. Дядя Фима был самым образованным человеком на нашей улице и поэтому быстрее всех опьянел.

Я был в восторге. Мне хотелось сейчас же доказать, как я их всех люблю. Мне хотелось дать честное пионерское слово, что я каждому из них найду и возвращу все, все, что он потерял в жизни. Может быть, я думал не этими словами, но думал я именно так. Но я не успел ничего сказать, потому что пришла мама и, нарочно не замечая всеобщего веселья, выдернула меня оттуда, как редиску из грядки.

Она вообще не любила, когда я бывал на этих праздничных сборищах, а тут еще была обижена, что я пробежал с найденными деньгами мимо своего дома.

– Ты, как твой отец, будешь стараться для других, – сказала она, когда мы спускались по лестнице.

– Я буду стараться для всех, – ответил я.

– Так не бывает, – грустно сказала она, думая о чем-то своем.

Тут нам встретился брат, который возвращался после поисков. По его лицу было видно, что в лотерее два номера подряд не выигрывают.

– Ты все деньги показал? – спросил он у меня мимоходом.

– Да, – гордо ответил я.

– Ну и дурак, – бросил он и убежал.

Эти мелкие неприятности не могли погасить того, что заиграло во мне. Я решил, что всем неудачам и потерям в нашем доме пришел конец. Раз я ни с того ни с сего мог найти такие деньги, чего я только не найду, если буду все время искать. Земля полна надземных и подземных кладов, только ходи и не хлопай глазами, да не ленись подбирать.

На следующее утро на эти же деньги мне купили прекрасную матросскую куртку с якорем, которую я носил несколько лет. В этот же день весть о моей находке распространилась в нашем дворе и далеко за его пределами. Приходили поздравить, узнать подробности этого праздничного события. Женщины глядели на меня с хозяйственным любопытством, по их глазам было видно, что они не прочь меня усыновить или, по крайней мере, одолжить на время.

Я десятки раз рассказывал, как нашел деньги, не забывая при этом заметить, что почувствовал находку.

– Я чувствовал, – говорил я, – я все время смотрел на землю и видел деньги.

– А сейчас ты не чувствуешь?

– Сейчас нет, – честно признавался я.

Это было и в самом деле маленькое чудо. Теперь я думаю, что какой-то шофер-левак, они часто там останавливались и распивали вино, потерял эти деньги. А потом в дороге спохватился, и его тревожные сигналы были правильно расшифрованы моим возбужденным мозгом.

В этот же день пришла одна женщина из соседнего двора, поздравила мою маму, а потом сказала, что у нее пропала курица.

– Ну и что мне теперь делать? – спросила мама сурово.

– Попросите вашего сына, пусть поищет, – сказала она.

– Оставьте, ради бога, – ответила мама, – мальчик один раз нашел деньги, и теперь покоя не будет сто лет.

Они разговаривали в коридоре, а я из комнаты прислушивался к ним. Но тут я не выдержал и приоткрыл дверь.

– Я найду вашу курицу, – сказал я, бодро выглядывая из-за маминой спины. Дня за два до этого у меня закатился мяч в соседский подвал. Вытаскивая его оттуда, я заметил какую-то курицу, а так как ни у кого в нашем дворе куры не терялись, теперь я догадался, что это ее курица. – Я чувствую, что она в этом подвале, – сказал я, немного подумав.

– Там нет никакой курицы, – неожиданно возразила хозяйка подвала. Она развешивала во дворе белье и, оказывается, прислушивалась к нашему разговору.

– Должна быть, – сказал я.

– Нечего туда лазить, дрова раскидывать, еще пожар устройте, – затараторила она.

Я взял спички и ринулся в подвал. Дверь в него была заперта, но с другой стороны подвала была дыра, в которую я и пролез.

В подвале было темно, только слабая полоска света падала из дыры, идти приходилось согнувшись.

– Что он там делает? – спросил кто-то снаружи.

– Клад ищет, – ответила Сонька, бестолковая спутница моего детства. – Он там миллион денег нашел.

Осторожно чиркая спичками и озираясь, я подошел к тому месту, где видел курицу, и снова увидел ее. Она приподнялась и, подслеповато поводя головой, посмотрела в мою сторону. Я понял, что она здесь высидывает яйца. Городские куры обычно уходят нестись куда-нибудь в укромное место. В темноте поймать ее было нетрудно. Я нащупал рукой гнездо, которое она себе устроила на клоке сена, и стал перекидывать теплые яйца в карманы. Потом я осторожно пошел назад. Теперь я шел на свет и поэтому мог не зажигать спичек.

Увидев курицу, хозяйка от радости закудахтала вместе с ней.

– Еще не все, – сказал я, передавая ей курицу.

– А что? – спросила она.

– А вот что, – ответил я и стал вынимать из карманов яйца. Увидев яйца, курица почему-то рассердилась, хотя я и не скрывал от нее, что взял их оттуда. Наверно, она тогда в темноте не заметила. Хозяйка переложила яйца в передник и, держа курицу под мышкой, вышла со двора.

– Когда поспеет инжир, приходи, – крикнула она из калитки.

С тех пор я всегда чего-нибудь искал и часто находил неожиданные вещи, так что прослыл чем-то вроде домашней ищейки. Помню, один наш чудаковатый родственник, когда у него пропал козел, хотел увезти меня в деревню, чтобы я его как следует поискал. Я был уверен, что найду козла, но мама меня непустила, потому что боялась, как бы я сам не заблудился в лесу.

Я находил и многие другие вещи, потому что все время искал и потому что все считали, что я умею находить. Дома я находил щепки, запеченные в хлеб, иголки, воткнутые в подушки рассеянными женщинами, старые налоговые квитанции и облигации нового займа.

Одна из наших соседок часто теряла очки и звала меня искать их. Я ей быстро находил очки, если она не успевала их вынести из комнаты вместе с мусором. Но и в этом случае я их находил в мусорном ящике, потому что кошки, которые там возились, никогда их не трогали. Но она слишком часто теряла очки, и в конце концов я ей посоветовал купить запасные, чтобы, потеряв первые, она могла бы при помощи запасных искать их. Она так и сделала, и некоторое время было все хорошо, но потом она стала терять и запасные, так что работы стало вдвое больше, и я был вынужден припрятать ее запасные очки.

Мне доставляло радость дарить окружающим то, что они потеряли. Я выработал свою систему поисков потерянных вещей, которая заключалась в том, что потерянные вещи сначала надо искать там, где они были, а потом там, где они не были и не могли быть. Гораздо позже я узнал, что это называется диалектическим единством противоположностей.

Если окружающие меня люди переставали что-нибудь терять, мне приходилось иногда создавать находки искусственно.

По вечерам я, как комендант, обходил двор и прятал забытые вещи. Часто это было белье, забытое на веревке. Я его закидывал на деревья, а потом на следующий день, когда ко мне приходили за помощью, после некоторых раздумий и расспросов, где что висело, как бы вычислив уравнение с учетом скорости ветра и направления его, я показывал изумленным домохозяйкам на их белье и сам же его снимал с деревьев. Разумеется, я был не настолько глуп, чтобы повторяться слишком часто. Да и настоящих потерь было гораздо больше.

За все это время только один раз находка моя не доставила радости хозяйке. Вот как это было.

В нашем дворе жила взрослая девушка. Звали ее Люба. Она почти целый день сидела у окна и улыбалась на улицу, зачесывая и перчесывая волосы золоченым гребнем, который я тогда ошибочно считал золотым. Рядом с ней стоял граммофон, повернутый изогнутой трубой на улицу. Он почти все время пел одну и ту же песенку:

Люба, Любушка,
Любушка, голубушка...

Граммофон был вроде зеркальца из пушкинской сказки, он все время говорил про хозяйку. Во всяком случае, я был в этом уверен, а судя по улыбающейся мордочке Любушки, она тоже.

Однажды летом в довольно глухом садике возле нашего дома я нашел в траве Любушкин гребень. Я был уверен, что это ее гребень, потому что другого такого я никогда не видел. В тот же вечер я прохаживался по двору в ожидании, когда подымется паника и меня пригласят искать. Но Любушки не было видно, и никакой тревоги не замечалось. На следующее утро я еще больше удивился, не обнаружив посыльного у своей постели. Я решил, что золотую гребенку потерял кто-то другой. Но все-таки надо было убедиться, что Любушкина гребенка на месте. Как назло, целый день она не появлялась у окна. Она показалась только к вечеру, но теперь граммофон играл совсем другую песню.

Я не знал, что это за песня, но понимал, что граммофон больше не разговаривает с ней. Это была грустная песня, а когда Любушка повернулась спиной к окну, я увидел, что в ее волосах нет никакой гребенки, и понял, что граммофон вместе с ней оплакивает потерю.

Мать и отец ее стояли у другого окна, уютно облокотившись на подоконник.

– Любка, – спросил я, дождавшись, когда кончится пластинка, – ты ничего не теряла?

– Нет, – сказала она испуганно и тронула рукой волосы именно в том месте, где раньше был гребень. При этом она почему-то так покраснела, что стало ясно – она понимает, о чем я говорю. Я только не знал, почему она скрывает свою потерю.

– А это ты не теряла? – сказал я с видом волшебника, слегка уставшего от всеобщего ротозейства, и вынул из кармана золотой гребень.

– Шпион проклятый, – неожиданно крикнула она и, выхватив гребень, убежала в комнату. Это было совершенно бессмысленное и глупое оскорбление.

– Дура, – крикнул я в окно, стараясь догнать ее своим голосом, – надо читать книжки, чтобы знать, что такое шпион.

Я повернулся уходить, но отец ее окликнул меня. Теперь у окна стоял он один, а Любушкина мать побежала за ней.

– Что случилось? – спросил он, высовываясь из окна.

– Сама гребень потеряла в саду, и сама обижается, – сказал я и удалился, так и не поняв, в чем дело. В тот вечер Любке крепко попало.

А потом у них в доме появился летчик и пластинка про «Любимый город». Песенка была очень красивая, но я никак не мог понять там одного места: «Любимый город в синем дым-Китая». Каждое слово в отдельности было понятно, а вместе получалась какая-то китайская загадка.

Через неделю летчик уехал с Любушкой, и теперь ее мать грустила у окна вместе с граммофоном, который плакал, как большая собака, и все звал: «Люба, Любушка...»

Я продолжал свои поиски, прихватывая все новые и новые неоткрытые земли.

Особенно интересно было искать на берегу моря после шторма. Там я находил матросский ремень с пряжкой, пряжку без ремня, заряженные патроны времен Гражданской войны, ракушки всевозможных размеров и даже мертвого дельфина. Однажды я нашел бутылку, выброшенную штормом, но записки в ней почему-то не оказалось, и я сдал ее в магазин.

Рядом с городом на берегу реки Келасури я нашел целую отмель с золотоносным песком. Стоя по колено в бледно-голубой воде, я целый день промывал золото. Набирал в ладони песок, зачерпывал воду и, слегка наклонив ладони, смотрел, как она стекала. Золотые, пластинчатые искорки вспыхивали в ладонях, вода щекотала пальцы ног, большие солнечные зайцы дрожали на чистом-пречистом дне отмели, и было хорошо, как никогда.

Потом мне сказали, что это не золото, а слюда, но ощущение холодной горной воды, жаркого солнца, чистого дна отмели и тихого счастья старателя – осталось.

Но вот еще странная находка, о которой мне хочется рассказать поподробней.

У нас была такая игра: кто глубже нырнет. На глубине примерно двух метров мы начинали нырять и заходили все дальше и дальше, пока хватало дыхания.

В тот день мы с одним пацаном состязались таким образом на Собачьем пляже. Пляж этот и сейчас так называется, может быть, потому, что там строго-настрого запрещают купать собак, а может быть, потому, что собак там все-таки купают. И вот я ныряю в последний раз. Дохожу до дна, хочу схватить песок и почти носом упираюсь в большую квадратную плиту, на которой успел разглядеть изображение двух людей.

– Старинный камень с рисунком, – ошалело крикнул я, вынырнув.

– Врешь, – сказал пацан, подплывая ко мне и заглядывая в глаза.

– Честное слово! – выпалил я. – Большой камень, а на нем первобытные люди.

Мы стали нырять по очереди и почти каждый раз видели в подводных сумерках белую плиту с тусклым изображением двух людей. Потом мы нырнули вдвоем и попытались сдвинуть ее, но она даже не пошатнулась.

Наконец мы замерзли и вылезли из воды. Я до этого точно приметил место, где мы ныряли. Это было как раз между буйком и старой сваей, торчавшей из воды.

Через несколько дней начались занятия в школе и я рассказал учителю о своей находке. Он вел у нас уроки по географии и истории. Это был могучий человек с высохшими ногами. Геркулес на костылях. От его облика веяло силой ума и душевной чистоплотностью. В гневе он был страшен. Мы его любили не только потому, что он обо всем интересно рассказывал, но и

потому, что он относился к нам серьезно, без той неряшливой снисходительности, за которой дети всегда угадывают безразличие.

– Это древнегреческая стела, – сказал он, внимательно выслушав меня, – замечательная находка.

Решили после уроков пойти туда и, если это возможно, вытащить ее из воды. «Стела», – повторял я про себя с удовольствием. Уроки прошли в праздничном ожидании похода.

И вот мы идем к морю. В качестве рабочей силы с нами отправили физрука. Сначала он не хотел идти, но директор его все-таки уговорил. В школе физрук никого не боялся, потому что, как он говорил, его в любой день могли взять тренером по боксу. Мы считали, что он одним ударом может нокаутировать весь педсовет. Может быть, поэтому с его лица не сходило выражение некоторой насмешки над всем, что делается в школе, и как бы ожидания того часа, когда этот удар нужно будет нанести.

Во время физкультуры, если его кто-нибудь не слушался, он мог дать щелчок-шалабан, равный по силе сотрясения прыжку с ограды стадиона на хорошо утопанный школьный двор. В этом каждый из нас успел убедиться.

Мы разделись и посыпались в море. На берегу остался один учитель. Он стоял в своей белоснежной рубашке с закатанными рукавами и, опираясь на костыли, ждал.

Накануне был шторм, и я боялся, что вода окажется мутной, но она была прозрачная и тихая, как тогда.

Я первый подплыл к тому месту, нырнул и дошел до дна, но ничего не увидел. Это меня не очень беспокоило, потому что я мог нырнуть не совсем точно. Я отдышался и снова нырнул. Опять дошел до дна и опять ничего не увидел. Вокруг меня фыркали, визжали и брызгались ребята из нашего класса. Большинство из них просто игралось, но некоторые и в самом деле доныривали до дна, потому что доставали песок и шлепали им друг друга. Никто не видел плиты. Я подплыл к буйку, чтобы узнать, не сошел ли он с места, но он крепко стоял на тресе.

Подплыл физрук. Он слегка опоздал, потому что надевал плавки.

– Ну, где статуя, – спросил он, отдуваясь, словно ему было жарко в воде.

– Здесь должна быть, – показал я рукой.

Он набрал воздуха и, мощно перевернувшись, пошел ко дну, как торпеда. Нырял и плавал он, надо сказать, здорово. Он долго не появлялся и, наконец, вынырнул, как взрыв.

– Всю воду замутили, – сказал он, отфыркиваясь и мотая головой. . . А ну, шкилеты, давай отсюда! – заорал он и, плашмя ударив рукой о воду, выплеснул фонтан в сторону наших ребят.

Они отплыли поближе к берегу, и мы с ним остались один на один.

– Слушай, а ты не фантазируешь? – спросил он строго, продолжая отдуваться, словно ему было жарко в воде.

– Что я, сумасшедший, что ли, – сказал я.

– Откуда я знаю, – ответил он, глядя в воду, словно выискивая дырку, в которую удобней нырнуть. Наконец нашел и, набрав воздуха, снова нырнул.

На этот раз он вынырнул с ржавым куском сваи.

– Не это? – спросил он, выпучив глаза от напряжения.

– Что я, сумасшедший, что ли, – сказал я. – Там каменная плита, на ней люди.

– Откуда я знаю, – сказал он и, отбросив железяку в сторону, снова нырнул.

Оказавшись один, я подумал, что пришло время удирать на берег, но стыд перед учителем был сильнее страха. Я же видел ее здесь, она никуда не могла деться!

– Пфу! Черт! – заорал он на этот раз, испуганно выбрасываясь из воды.

– Что случилось? – спросил я, сам испугавшись. Я решил, что его хлестнул морской конек или еще что-нибудь.

– Что случилось, что случилось! Воздуху забыл взять, вот что случилось, – зафырчал он, гневно передразнивая меня.

– Сами забыли, а я виноват, – сказал я, несколько уязвленный его передразниванием. Физрук что-то хотел мне ответить, но не успел.

– Что вы ищете? – спросила незнакомая девушка, осторожно подплывая к нам.

– Вчерашний день, – сердито сказал физрук, но, обернувшись, неожиданно растаял: – Древнегреческую статую... Может, поныряете с нами?

– Я не умею нырять, – сказала она с идиотской улыбкой, словно приглашая его научить. На ней была красная косыночка. И физрук с молчаливым восхищением уставился на эту косыночку, как бы удивляясь, где она могла достать ее.

– А сами вы откуда? – спросил он ни с того ни с сего, словно, откуда была косынка, он уже установил.

– Из Москвы, а что? – ответила девушка и на всякий случай посмотрела на берег, прикидывая, не опасно ли на такой глубине разговаривать с чужими мужчинами.

– Вам повезло, – сказал физрук, – я вас научу нырять.

– Нет, – улыбнулась она на этот раз смелей, – лучше посмотрю, как вы ищете.

– Если я не вынырну, считайте, что вы меня нокаутировали, – сказал он, улыбкой перехватывая ее улыбку и доводя ее до нахальных размеров.

Он особенно мощно перевернулся и пошел ко дну. Я понял, что начались трали-вали и теперь ему будет не до плиты.

– Вы в самом деле видели статую? – спросила девушка и, вынув руку из воды, мизинцем, который ей по глупости показался наименее мокрым, приткнула сбившиеся волосы под косынку.

– Не статую, а стелу, – поправил я ее, глядя, как она бесстыдно прихорашивается для физрука.

– А что это такое? – спросила она, продолжая спокойно стараться.

Я тоже решил принять свои меры, пока он не вынырнул.

– Не мешайте, – сказал я, – что вам моря мало, плывите дальше.

– А ты, мальчик, не груби, – ответила она надменно, словно разговаривала со мной из окна собственного дома. Быстро же они осваиваются. Она знала, что физрук рано или поздно вынырнет и будет на ее стороне.

Физрук шумно вынырнул, словно танцор, ворвавшийся в круг. Хотя он очень долго был под водой, это был пропащий нырок, потому что сейчас он нырял не для нас, а для нее.

– Ну как, видели? – спросила она у него, словно они были из одной компании, и даже подплыла к нему немного.

– А, – сказал он, отдышавшись, – фантазеры! – Так он называл всех маломощных и вообще никчемных людей. – Давайте лучше сплавляем.

– Давайте, только не очень далеко, – согласилась она, может быть, назло мне.

– А как же плита? – проговорил я, тоскливо напоминая о долге.

– Я сейчас дам тебе шалабан, и ты сразу очутишься под своей плитой, – разъяснил он спокойно, и они поплыли. Черная голова с широкой загорелой шеей рядом с красной косыночкой.

Я посмотрел на берег. Многие ребята уже лежали на песке и грелись. Учитель все еще стоял на своих костылях и ожидал, когда я найду плиту. Если б я еще вчера не видел этого пацана, с которым мы ее нашли, я бы, может, решил, что все это мне примерещилось.

Я пронырнул еще раз десять и перещупал дно от сваи до буйка. Но проклятая плита куда-то запропала. За это время учитель наш несколько раз меня окликал, но я плохо его слышал и делал вид, что не слышу совсем. Мне было стыдно вылезать, я не знал, что ему скажу.

Я сильно устал и замерз и наглотался воды. Нырять с каждым разом делалось все противней и противней. Я уже не доныривал до дна, а только погружался в воду, чтобы меня не было видно. Многие ребята оделись, некоторые уходили домой, а учитель все стоял и ждал.

Физрук и девушка уже вылезли из воды, и он перешел со своей одеждой к девушке, и они сидели рядом и, разговаривая, бросали камушки в воду.

Я надеялся, что нашим надоест ждать и они уйдут, и тогда я вылезу из воды. Но учитель не уходил, а я продолжал нырять.

За это время физрук успел надеть на голову девушкину косынку. Пока я соображал, с чего это он повязал голову ее косынкой, он неожиданно сделал стойку, а она по его часам стала следить, сколько он продержится на руках. Он долго стоял на руках и даже разговаривал с нею в таком положении, что ей, конечно, очень нравилось.

Я уныло залюбовался им, но в это время учитель меня очень громко окликнул, и я от неожиданности посмотрел на него. Наши взгляды встретились. Мне ничего не оставалось как плыть к берегу.

– Ты же замерз! – закричал он, когда я подплыл поближе.

– Вы мне не верите, да? – спросил я, клацая зубами, и вышел из воды.

– Почему не верю, – строго сказал он, подавшись вперед и крепче сжимая костыли своими гладиаторскими руками, – но разве можно так долго купаться. Сейчас же ложись!

– Со мной был мальчик, – сказал я противным голосом неудачника, – я завтра его вам покажу.

– Ложись! – приказал он и сделал шаг в мою сторону. Но я продолжал стоять, потому что чувствовал – мне и стоя трудно будет их убедить, не то что лежа.

– А может, этот мальчик вытащил? – спросил один из ребят. Это был соблазнительный ход. Я посмотрел на учителя и по его взгляду понял, что он ждет только правды и то, что я скажу, то и будет правдой, и поэтому не мог солгать. Гордость за его доверие не дала.

– Нет, – сказал я, как всегда в таких случаях, жалея, что не вру, – я его видел вчера, он бы мне сказал...

– Может, ее какая-нибудь рыба унесла, – добавил тот же мальчик, прыгая на одной ноге, чтобы вытряхнуть воду из ушей.

Это был первый камушек, я знал, что за ним посыплется град насмешек, но учитель одним взглядом остановил их и сказал:

– Если бы я не верил, я бы не пришел сюда. – Потом он задумчиво оглядел море и добавил: – Видно, ее во время шторма засосало песком или отнесло в сторону.

И все-таки через пятнадцать лет ее нашли, не очень далеко от того места, где я ее видел. И нашел ее, между прочим, брат моего товарища. Так что и на этот раз она далеко от меня не ушла.

Знаюки говорят, что это редкое и ценное произведение искусства – надгробная стела с мягким, печальным барельефом.

Я с волнением и гордостью вспоминаю нашего учителя, его курчавую голову с прекрасным горбоносим лицом эллинского бога, бога с перебитыми ногами.

...Хотя в наших морях не бывает приливов и отливов, земля детства – это мокрый, загадочный берег после отлива, на котором можно найти самые неожиданные вещи.

И я все время искал и, может быть, от этого сделался немного рассеянным. И потом, когда стал взрослым, то есть когда стало что терять, я понял, что все счастливые находки детства – это тайный кредит судьбы, за который мы потом расплачиваемся взрослыми. И это вполне справедливо.

И еще одно я твердо понял: все потерянное можно найти – даже любовь, даже юность. И только потерянную совесть еще никто не находил.

Это не так грустно, как может показаться, если учесть, что по рассеянности ее невозможно потерять.

Тринадцатый подвиг Геракла

Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно точно.

Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверно, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность.

И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален, – сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего был.

Звали его Харламий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть.

Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион.

Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервирует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей с годами.

К счастью, нашего директора не послушались и стадион оставили на месте, только деревянный забор заменили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде.

Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было немислимо. Это было все равно что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда, и зимой и летом, ходил в одной шляпе, вечнозеленой, как магнолия. И всегда чего-нибудь боялся.

Со стороны могло показаться, что он больше всего боялся комиссии из гороно, на самом деле он больше всего боялся нашего завуча. Это была демоническая женщина. Когда-нибудь я напишу о ней поэму в байроновском духе, но сейчас я рассказываю о другом.

Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь и сбежали с урока, то это был, как правило, урок пения.

Бывало, только входит наш Харламий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного.

Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну примерно на полсекунды после звонка, а Харламий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если б прямо под нашим классом не находилась учительская.

Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сгоряча выругает, но только не Харламий Диогенович. В таких случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на проход.

Ученик мнетя, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь понезаметней проскользнуть в дверь после учителя. Зато лицо Харлампия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, сдержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он дает знать, что само появление такого ученика – редчайший праздник для нашего класса и лично

для него, Харлампия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опоздании, тем более он, скромный учитель, который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят.

Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место.

Харлампий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное. Например:

– Принц Уэльский.

Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой на оленей. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции. Потому что она образцовая. В крайнем случае, если б ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупредили и подготовили класс к его приходу.

Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то Уэльским.

Но вот Харлампий Диогенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок.

Большоголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Кроме журнала, у него был блокнотик, куда он что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он на кого-нибудь кричал, или уговаривал заниматься, или грозил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были ему ни к чему.

Во время контрольных работ он и не думал бегать между рядами, заглядывать в парты или там бдительно вскидывать голову при всяком шорохе, как это делали другие. Нет, он спокойно читал себе что-нибудь или перебирал четки с бусами, желтыми, как кошачьи глаза.

Списывать у него было почти бесполезно, потому что он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеивать ее. Так что списывали мы только в самом крайнем случае, если уж никакого выхода не было.

Бывало, во время контрольной работы оторвется от своих четок или книги и говорит:

– Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко.

Сахаров встает и смотрит на Харлампия Диогеновича вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо учится.

– Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею.

Авдеенко тупо смотрит на Харлампия Диогеновича, как бы не понимая, а может быть, и в самом деле не понимая, почему он может сломать шею.

– Авдеенко думает, что он лебедь, – поясняет Харлампий Диогенович. – Черный лебедь, – добавляет он через мгновение, намекая на загорелое, угрюмое лицо Авдеенко. – Сахаров, можете продолжать, – говорит Харлампий Диогенович.

Сахаров садится.

– И вы тоже, – обращается он к Авдеенко, но что-то в голосе его едва заметно сдвинулось. В него влилась точно дозированная порция насмешки. – ...Если, конечно, не сломаете шею... черный лебедь! – твердо заключает он, как бы выражая мужественную надежду, что Александр Авдеенко найдет в себе силы работать самостоятельно.

Шурик Авдеенко сидит, яростно наклонившись над тетрадью, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи.

Главное оружие Харлампия Диогеновича – это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, – не лентяй, не лоботряс, не хулиган, просто смешной человек.

Вернее, не просто смешной, на это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последним.

И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться. Но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный.

Надо сказать, что Харламий Диогенович не давал никому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи.

В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении.

В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. А между прочим, в задачниках тех лет, наверное, из-за вредителей, ответы иногда бывали неверные. Правда, очень редко, потому что их к тому времени почти всех переловили. Но, видно, кое-кто еще орудовал на воле.

Но некоторые сомнения у меня все-таки оставались. Вредители вредителями, но, как говорится, и сам не плошай.

Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи, оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка.

И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова:

– Ну, как задача?

– Ничего, – говорит он, – решил.

При этом он коротко и значительно кивнул головой в том смысле, что трудности были, но мы их одолели.

– Как решил, ведь ответ неправильный?

– Правильный, – кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие, хотя и заслуженное, но тем более неприятное. Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих: хвататься руками за воздух.

Оказывается, в это время в дверях появился Харламий Диогенович, но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чем дело, испуганно захлопнул задачник и замер.

Харламий Диогенович прошел на место.

Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харламий Диогенович, наверное, заметил мое волнение и первым меня вызовет.

Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом и даже на тетради писал «Алик», потому что началась война и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом.

Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но, по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый оставался таким, каким был.

Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и оттого, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка – держать руки на промокашке, от чего я его никак не мог отучить.

– Гитлер капут, – шепнул я в его сторону. Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче.

Между тем Харламий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка вздернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрее.

Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание.

– Кто дежурный? – неожиданно спросил он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку.

Дежурного не оказалось, и Харламий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока он стирал, Харламий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни, или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен и он ждал, чтобы староста скорей кончил свое нудное протираие. Наконец староста сел.

Класс замер. Но в это мгновение раскрылась дверь и в дверях появились доктор с медсестрой.

– Извините, это пятый «А»? – спросила доктор.

– Нет, – сказал Харламий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти пятый «А», потому что он был пятый «Б», он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть.

– Извините, – сказала доктор еще раз и, почему-то нерешительно помешкав, закрыла дверь.

Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома.

Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самые противные из всех существующих уколов.

И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить.

– Можно, я им покажу, где пятый «А»? – сказал я, обнаглев от страха.

Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь. А потом пятый «А» был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе.

– Покажите, – сказал Харламий Диогенович и слегка приподнял брови.

Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса.

Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними.

– Я покажу вам, где пятый «А», – сказал я. Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты.

– А нам что, не будете делать? – спросил я.

– Вам на следующем уроке, – сказала докторша, все так же улыбаясь.

– А мы уходим в музей на следующий урок, – сказал я несколько неожиданно даже для себя.

Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организованно.

Дело в том, что в прошлом году один мальчик из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу по два, а гурьбой.

На самом деле этот мальчик все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была покрыта Хижина Дореволюционного Бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда все успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал.

– А мы вас не пустим, – сказала докторша шутливо.

– Что вы, – сказал я, начиная волноваться, – мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей.

– Значит, организованно?

– Да, организованно, – повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей.

– А что, Галочка, пойдем в пятый «Б», а то и в самом деле уйдут, – сказала она и остановилась. Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах.

– Но ведь нам сказали сначала в пятый «А», – заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую.

Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой.

– Какая разница, – сказала докторша и решительно повернулась.

– Мальчику не терпится испытать мужество, да?

– Я малярник, – сказал я, отстраняя личную заинтересованность, – мне уколы делали тыщу раз.

– Ну, малярник, веди нас, – сказала докторша, и мы пошли.

Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом.

Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеенко, и, хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не мог припомнить ход своей мысли.

«Не бойся, Шурик, – думал я, – ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым.

– Молодец, Алик, – сказал я тихо Комарову, – такую трудную задачу решил.

Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка.

Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой Галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы.

– Если это необходимо именно сейчас, – сказал Харлампий Диогенович, мельком взглянув на меня, – я не могу возражать. Авдеенко, на место, – кивнул он Шурику.

Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи.

Класс заволновался, но Харламий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным.

Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты.

– Ну, кто из вас самый смелый? – сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось.

Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу.

– Будем вызывать по списку, – сказал Харламий Диогенович, – потому что здесь сплошные герои.

Он раскрыл журнал.

– Авдеенко, – сказал Харламий Диогенович и поднял голову.

Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.

Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше, получить двойку или идти первым на укол.

Он заголил рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал.

Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало.

Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу.

– Отвернись и не смотри, – говорил я ему.

– Я не могу отвернуться, – отвечал он затравленным шепотом.

– Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать лекарство, – подготавливал я его.

– Я худой, – шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, – мне будет очень больно.

– Ничего, – отвечал я, – лишь бы в кость не попала иголка.

– У меня одни кости, – отчаянно шептал он, – обязательно попадут.

– А ты расслабься, – говорил я ему, похлопывая его по спине, – тогда не попадут.

Спина его от напряжения была твердая, как доска.

– Я и так слабый, – отвечал он, ничего не понимая, – я малокровный.

– Худые не бывают малокровными, – строго возразил я ему. – Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь.

У меня была хроническая малярия, и, сколько доктора ни лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией.

К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем.

Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остекленевшими глазами, и когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока, для чего.

После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.

– «Скорую помощь»! – закричал я. – Побегу позвоню!

Харламий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику.

Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.

– Даже не почувствовал, – сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.

– Молодец, малярник, – сказала докторша.

Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый «А».

– Еще потрите, – сказал я, – надо, чтобы лекарство разошлось.

Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней.

Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный – лекарства. Ученики сидели, поживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.

– Откройте окно, – сказал Харламий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы.

Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.

– Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов, – сказал он и остановился. Щелк, щелк – перебрал он две бусины справа налево. – Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию, – добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.

«Смотри, чего захотел», – подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую, завалиющую мифологию, может быть, и можно подправлять, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может.

– Он решил совершить тринадцатый подвиг Геракла, – продолжал Харламий Диогенович, – и это ему отчасти удалось.

Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками.

– Геракл совершал свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости... – Харламий Диогенович задумался и прибавил: – Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг...

Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая.

Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича.

– ...Мне кажется, я догадываюсь, – проговорил он и посмотрел на меня.

Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху вlepилось в спину.

– Прошу вас, – сказал он и жестом пригласил меня к доске.

– Меня? – переспросил я, чувствуя, что голос мой подымается прямо из живота.

– Да, именно вас, бесстрашный малярник, – сказал он.

Я поплелся к доске.

– Расскажите, как вы решили задачу, – спросил он спокойно, и – щелк, щелк – две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках.

Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленней и интересней.

Я смотрел краем глаза на доску, пытаюсь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.

– Мы вас слушаем, – сказал Харламий Диогенович, не глядя на меня.

– Артиллерийский снаряд, – сказал я бодро в ликующей тишине класса и замолк.

– Дальше, – проговорил Харламий Диогенович, вежливо выждав.

– Артиллерийский снаряд, – повторил я упрямо, надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаюсь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь.

– Артиллерийский снаряд, – повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.

В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.

– Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? – спросил Харламий Диогенович с доброжелательным любопытством.

Он это спросил так просто, как будто справлялся, не проглотил ли я сливовую косточку.

– Да, – быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.

– Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, – сказал Харламий Диогенович, но класс уже и так смеялся.

Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который, хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом.

Глядя на него, я подумал, что если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружили во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями.

Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харламий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик.

С тех пор я стал серьезней относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое.

Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина.

Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого.

Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями.

Я, понятно, об этом несколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.

Время по часам

Теперь поговорим о времени.

Но прежде чем говорить о времени историческом, я должен сказать, что у меня со временем обычным сложились в свое время сложные, запутанные взаимоотношения. Вернее, не со временем, а с часами.

Как это ни стыдно (в сущности, сейчас это не стыдно, тогда было стыдно), должен признаться, что, научившись читать еще до школы, я уже в школьные годы ухитрился пронести, по крайней мере в течение трех лет, полное непонимание того, что происходит на циферблате.

Вернее, было понимание общего направления времени, то есть я догадывался, что если стрелка часов приближается к цифре двенадцать, то она неожиданно назад не пойдет, а будет пересекать эту цифру и идти дальше. Примерно я даже мог определить, насколько она приблизилась к такому-то часу, но точно сказать не мог.

Кроме того, я понимал, что если большая стрелка находится на правой половине циферблата, то будут говорить, что сейчас столько-то минут такого-то, а если на левой половине – то будут говорить без стольких-то минут столько-то. И еще я знал, что если обе стрелки сошлись на двенадцати, то, значит, так оно и есть – ровно двенадцать часов. В сущности, это последнее знание даже как-то мешало, тормозило угадывание механики общей картины жизни циферблата, было непонятно, почему такое исключение для двенадцати часов.

Могут подумать, что я кокетничаю тупостью. Но, во-первых, чтобы кокетничать тупостью, тоже немало смелости надо иметь, а во-вторых, признание в тупости есть все-таки хотя бы частичное ее одоление. Но дело в том, что я и в самом деле не мог определить время по часам, хотя по возрасту должен был это уметь, и некоторые терзания по этому поводу оставили след в моей памяти, который я теперь и воспроизвожу.

Просто так получилось, что вовремя мне никто не показал, как узнается время по часам, а потом все были уверены, что я это и так знаю, а мне уже было стыдно спросить.

В нашем дворе часов в доме ни у кого не было. Некоторые мужчины имели часы, но они носили их на руке или в кармане, как мой отец. И те и другие с утра уходили из дому со своими часами. Двор же, насколько я помню, со всеми своими обитателями, то есть женщинами, детьми, моим сумасшедшим дядей (отношение его ко времени так и не удалось установить), собаками, кошками, курами, не испытывал ни малейшей нужды иметь при себе свое точное время.

В хорошие дни женщины ориентировались по солнцу, а в остальное время по пароходным гудкам. Пароходы шли из Одессы в Батуми и обратно, попутно заходя в наш порт.

Пароходные гудки почему-то вызывали у Богатого Портного иногда добродушные, иногда ворчливые, иногда насмешливые, иногда раздраженные, но всегда осуждающие замечания.

– Этот пароход тоже так гудит, как будто мне золото привез, – говорил он с усмешкой, кивая в сторону порта, как бы обращая внимание на глупость самой идеи гудка. Что значит «тоже»? Частица эта казалась особенно бессмысленной и потому смешной.

В сущности говоря, сейчас анализ этой фразы мог бы раскрыть бесконечное богатство ее содержания. Опять же эта частица. Формально получается, что пароход тоже надоел, как надоели ему другие бессмысленно гудящие явления жизни. Но никаких других гудящих явлений жизни поблизости от Богатого Портного явно не было, следовательно, эта частица своей уместной неуместностью отсылает нас к более отдаленному смыслу. И мы его пойдем, если снова прислушаемся к фразе в целом.

– Этот пароход, – стало быть, говорил Богатый Портной, – тоже так гудит, как будто бы мне золото привез.

Охватывая фразу в целом, мы нащупываем ее главную тему, а именно: «Я и пароход». Оказывается, эта тема внутри этой фразы в сжатом виде заключает в себе целый сюжет. По-видимому, кем-то было обещано, что однажды пароход, который гудком, чтобы Богатый Портной его услышал в любой точке города, известит о своем приходе, привезет ему золото. Но он уже давно знает, что никакого золота этот гудящий пароход не привезет. Более того, еще до парохода было немало других движущихся сооружений, которые тоже о своем приближении извещали гудками и тоже обещали привезти ему золото. Но оказалось, что все они морочили голову, и у него теперь нет ни малейшего желания слушать эти гудки и ждать это фантастическое золото. И конечный вывод: нечего надеяться на какой-то пароход, который якобы привезет тебе золото, а надо надеяться на самого себя, что он, Богатый Портной, и делает.

Другие его восклицания по поводу пароходного гудка были, можно сказать, дочерними предприятиями той же темы. Так, например, в ответ на гудок он иногда замечал:

– Сейчас, сейчас прибегу с чемоданом.

То есть не в том смысле, что он собирается уехать с чемоданом на прибывшем пароходе, а в том, что он якобы поспешит с чемоданом для получения причитающегося ему золота или бриллианта, как он иногда говорил.

С пароходными гудками по-настоящему был связан только дядя Алихан, потому что он продавал жареные каштаны пассажирам пароходов, идущих из Одессы. Они хорошо брали наши каштаны, может быть, потому, что Одесса богата несъедобными конскими каштанами, которые развивают в одесситах тоску по съедобным каштанам. Возможно, они набрасывались на наши каштаны из ревливой любознательности – вот, мол, тоже каштаны, а дают съедобные плоды, не то что наши дармоеды.

Иногда пароход из-за штормовой погоды опаздывал, и Алихан, принарядившись, с готовой корзиной ждал гудка у своего порога. Ожидание его нередко сопровождалось шутками Богатого Портного в том духе, что, мол, пропал теперь Алихан, что, мол, по радио сообщили, что рейс отменяется, и тому подобное.

Алихан на эти шутки никогда не отвечал, а солидно стоял возле своей корзины, прикрывая ее, чтобы сохранить тепло, мешковиной, а то и старым одеялом. Как только раздавался гудок, он сбрасывал это тряпье и, бодро ухватив корзину, отправлялся в путь.

Женщины нашего двора в то время в основном все-таки ориентировались по солнцу.

– Где солнце, а я еще на базар не ходила! – вдруг спохватывалась какая-нибудь из них.

– Где солнце, а где ты?! – раздражалась другая, увидев во дворе свою запаздывающую подругу.

В четвертом классе, когда нас неожиданно перевели во вторую смену, у меня начался разлад со временем. Сначала я приспособился определять его по солнцу! Я заметил, что, когда тень от края крыши соседского дома, попавшая на стену, покрытую в верхней своей части двумя рядами листового железа, проходит первый ряд, самое время идти в школу. Так длилось с неделю, а потом с неделю была пасмурная погода, шли дожди и мне приходилось выглядывать из окна на улицу, пытаясь узнать время у прохожих, что было не всегда удобно. Потом погода опять улучшилась, и я, дождавшись, когда тень от солнца покрыла верхний пояс листового железа, отправился в школу и опоздал.

Я был не только огорчен, но и изумлен этим астрономическим коварством. Разумеется, я понимал, что солнце на небе в зависимости от времени года подымается выше или ниже и от этого тень может менять свою длину, но я был уверен, что все это происходит в течение нескольких месяцев. А тут всего неделя, ну, от силы дней десять прошло, но никак не больше.

Было впечатление чуда, словно я поймал природу за сменой вывески, словно зеленый летний лист на моих глазах слегка пожелтел по краям. Кстати, в ответ на мой рассказ об этом бабушка сказала, что точно так же она была поражена, когда однажды в девичестве у нее была бессонница и она заметила, что звездочка, светившая в ее окно, за ночь заметно переместилась.

До этого она считала, что на небе днем движется солнце, а ночью луна, а то, что и звезды передвигаются, она и понятия не имела, как простая деревенская девушка. Правда, сказала она, это было давно, а то, что сейчас делается на небесах, она не знает. Я из этого ее замечания заключил, что бабушка со времен девичества не знала бессонницы.

Открытие мое (насчет солнца, а не бабушкиных звезд) хотя меня и поразило, но не обескуражило. Я стал приспособливаться к длине тени, довольно правильно угадывая время, когда надо было идти в школу.

Глядя на этот пояс из листового железа, я мысленно набавлял чуть-чуть тени, и получалось довольно правильно. Кстати говоря, ржавчина на этих железных листах расплзлась в самые причудливые рисунки, напоминающие то географическую карту, то сражения каких-то мифологических существ, то еще что-то.

Однажды на одном из квадратов, как в раме, я отчетливо увидел известный портрет Ленина, читающего газету «Правда». Ну, разумеется, в отличие от подлинника и его репродукции на этом творении природы нельзя было догадаться, что это именно газета «Правда», но в остальном было удивительное сходство, особенно этот лобастый, как бы таранящий наклон головы.

Интересно отметить, что потом с годами многие рисунки, которые я угадывал на этих железных листах, то ли под влиянием погоды, то ли возраста, а скорее всего и того и другого, менялись. Так, однажды, уже кончая школу, на одном из листов я заметил смутный, но совершенно прелестный силуэт уходящей девушки. Особенное удовольствие доставляла живая теплота и необыкновенная точность движения ноги, еще не шагнувшей (нельзя же сказать, задней ноги? или можно?), но уже расслабленно приподнятой, в мгновение отделения ее от земли. Мне кажется, впоследствии произведения живописи редко доставляли мне такое удовольствие. Я думаю, тут дело в сочетании точности с таинственностью, дело во включенности нашего воображения. Из хаоса каких-то цветковых пятен мы извлекли какой-то рисунок, то есть какой-то смысл. Прелесть его еще в том, что он не только вызван к жизни некоторыми усилиями воображения, но и удерживается за счет воображения и, главное, дорисовывается за счет того же воображения.

Здесь два главных момента следует отметить, скажем мы голосом лектора. Первое – это то, что, видимо, в самой природе человека заложена склонность извлекать смысл из хаоса бессмыслицы. Кстати, отчасти в этом, вероятно, удовольствие рыбалки: из хаоса воды извлечь трепещущую рыбку, то есть отчасти как бы создать ее.

Второе – искусство недосказанности. В данном случае недосказанность – это недорисованность той девушки, то есть возможность, нет, благодарная возможность дорисовать ее за счет своего идеала.

Искусство недосказанности – одно из самых неподвластных разуму: интуитивных. Недосказывая, надо недосказать так, чтобы воображение, перепрыгивая с камня на камень, не бултыхнулось в реку. Но и расстояние между камнями должно быть достаточно большим, чтобы прыжок ощущался как истинно захватывающий дух, истинно рискованный, и тогда он по настоящему встряхнет, взбодрит нас.

Иными словами, можно сказать, что недосказанность в искусстве – это не река, уходящая в песок, а река, впадающая в Лету.

Кстати, что может быть пошлее басни, которая вместо морали в конце предлагает подумывать и сделать якобы собственный вывод, то есть предлагает прыжок там, где можно спокойно перешагнуть.

Я вижу, что, взволнованный воспоминаниями о чудном силуэте уходящей девушки, я почти пропел гимн недосказанности в искусстве. Тем не менее должен для полноты своего истинного отношения к предмету сказать, что самые великие произведения искусства, такие, скажем, как «Война и мир» Толстого или «Возвращение блудного сына» Рембрандта, сильны

прежде всего прямой радиацией художественной мощи, хотя и в них есть элементы недосказанности, дополняющие ясную, очевидную, но от этого ничуть не менее потрясающую картину жизни.

И последнее, что хотелось бы сказать по этому поводу. Я могу подолгу любоваться прекрасной картиной Врубеля «Демон», могу и равнодушно пройти мимо. Ну, постоять мгновение и пройти. Зависит от настроения. От совпадения двух настроений, смотрящего и картины. Вероятность попадания велика, потому что и настроение крупное, и передано замечательно. Но, увидев картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», я не могу не остановиться, потому что картина смыкает мое личное настроение и погружает меня в ровный и могучий поток своего настроения. Наверное, в этом разница между талантливым и великим. Из этого не следует, что талантливое должно приспосабливаться к моему настроению, это я, если хочу понять его, должен войти в его настроение.

Но о чем я? Прошлым летом я был дома и видел все ту же стену, опоясанную теми же железными листами, но ни одного рисунка я не узнал, кроме – представьте себе! – Ленина, все еще читающего газету. А где же моя милая девушка, я почему-то тогда же нарек ее пионервожатой, хотя в едва намеченных очертаниях одежды никак нельзя было уловить такой малой детали, как пионерский галстук на шее.

Одним словом, в плохую погоду я время узнавал у прохожих. Разумеется, часы бывали не у всех прохожих. Более того, не все прохожие из тех, что явно имели часы, отвечали мне на ясный вопрос:

– Дяденька, который час?

Некоторых пугала неожиданность вопроса или раздражала его оголенная упрощенность: вот так вот прямо и скажи ему!

Я, конечно, старался не вызывать у них раздражения, что иногда, в свою очередь, то есть именно мои старания и вызывали неожиданные взрывы гнева. Так, чтобы не пугать прохожих неожиданностью вопроса, я, прижавшись лицом к оконной решетке, старался еще издали переглянуться с прохожим, с тем чтобы, подготовив его этим переглядыванием, спросить, который час, когда он поравняется со мной.

Но некоторые из них, по-видимому, обладая повышенной телепатической чуткостью, увидев мой вопрошающий взгляд, уже не спуская с меня глаз, с чрезмерно повышенным интересом к моему еще не заданному вопросу подходили к окну и, остановившись в пределах допустимого риска, осторожно спрашивали:

– В чем дело?

– Дяденька, который час? – спрашивал я, чувствуя, что простота моего вопроса оскорбительна, как и то, что я его не остановил, когда он направился в мою сторону.

– Ты смотри, что за нахал! – вскидывался иной из этих прохожих и, ворча на испорченную молодежь, продолжал свой путь. А то еще, остановив другого прохожего, идущего навстречу, рассказывал ему о том, что, мол, он проходил себе по улице, как вдруг этот шкет позвал его, и так далее. Разумеется, я ни одного из них не знал, хотя и бросал на них выразительные взгляды с тем, чтобы они потом не вздрагивали, когда я у них буду спрашивать время.

Обрывки этих жалоб я слышал, стоя у окна, а иногда встречал и укоризненный взгляд того прохожего, которого остановил мой прохожий. Взгляд этот вменял мне в вину не только то, что я остановил на дороге солидного взрослого человека, но и то, что этот человек остановил его, уже вовсе ни в чем не повинного взрослого человека, не имевшего ни малейшего желания входить в историю взаимоотношений того взрослого человека со мной.

Все-таки, справедливости ради, я должен сказать, что большинство прохожих, даже вздрогнув и выдержав неожиданность вопроса, отвечали мне дружелюбно и нередко даже с улыбкой.

Иногда, ожидая прохожего с часами, я слышал далекий звонок из нашей школы, но доверять ему было опасно: неизвестно было, с какого урока или на какой урок он звонит.

Именно в эту осень к нам во двор переселилась семья, у которой были домашние часы. И какие! Это были не часы, а скорее маленькая часовня из красного дерева, время от времени издающая звон, подобно нашей греческой церкви, и до того грозно показывающая мечами своих стрелок на цифры, что каждое время, на которое они указывали, казалось, в чем-то провинилось.

Часы эти принадлежали семье, которая переехала к нам откуда-то из России. В то время у нас в горах строили новую ГЭС, и глава семьи на этом строительстве был каким-то начальником.

Жена его – подвижная, легкая, довольно остроумная, но почему-то и глуповатая, как я впоследствии заметил, женщина. Звали ее тетя Женя. У них было двое детей – взрослая девушка Лиза с миловидной белокурой головкой, очень близорукими васильковыми глазами и тяжеловато стекающей к ногам фигурой. Сына звали Эрик. Помню тот первый день, когда тетя Женя пришла к моей тетушке вместе с этим незнакомым тогда еще мальчиком. Слушая краем уха болтовню женщин, я наблюдал за ним.

Он стоял возле своей матери в вельветовой курточке и таких же штанишках, чем-то похожий на изображение дореволюционных мальчиков из зажиточных домов. Но меня поразила не столько его одежда, сколько его военизированной-смиренной позы, в которой он стоял возле своей матери. Такая поза в нашей разгильдяйской семье была возможна только в виде пародии на благонравие, и я все ждал, когда же этот мальчик подмигнет мне или рассмеется.

В ответ на мои взгляды мальчик с комическим спокойствием продолжал сохранять свою военизированно-смиренную позу и смотрел на меня своими большими зелеными глазами с выражением грустной невозмутимости. В конце концов я понял, что он так может стоять до бесконечности, и почему-то представил его с пионерским горном, в который он трубит, уставившись в небо своими грустными, невозмутимыми глазами.

– Мама, носик течет, – вдруг сказал он, не меняя позы и продолжая смотреть на меня своими грустными, невозмутимыми глазами.

Всех, кто был в кухне, а там, кроме тетки, были и другие женщины, поразила этот спокойный интеллигентный возглас. Тетушка посмотрела на меня с каким-то смешанным чувством упрека (я в его возрасте этого не говорил) и сожаления (примером этим ввиду его опоздания уже невозможно было воспользоваться).

В нашем окружении дети в этом возрасте или утирались рукавом, или второпях втягивали содержимое носа в более безопасные глубины. В лучшем случае, если в руках оказывался платок, пользовались им без всякой консультации с кем-либо. А этот мальчик предпочел поставить в известность свою маму о состоянии своего носа с тем, чтобы ей как более опытному человеку дать полную свободу решать, каким способом справиться с подступившей опасностью.

Все, кто был в кухне, крайне удивились этому. Все, кроме матери и сына. По-видимому, это была обычная фраза в их обиходе. Мать его, не переставая разговаривать с тетушкой, поднесла платок, и мальчик, кстати, не переставая глядеть на меня своими большими грустными глазами, несколько раз вежливо высморкался.

Постепенно мы с ним разговорились. Он сказал, что умеет читать, что у него самый большой из всех конструкторов, которые выпускались в нашей стране, и что он может определять время по часам, а страны света – по компасу. Упоминание о часах вызвало у меня в груди глухую боль, сальерианское сжатие сердечной мышцы. Даже такие дети умеют определять время, думал я, что же я никак не научусь? Я был года на три старше его. Я предложил ему выйти на балкон, как мы называли длинную застекленную тетушкину галерею.

– Мама, можно мы поиграем на этой галерее? – спросил он, не подхватывая, как я заметил, принятого нами слова, а с некоторым, как мне показалось, жестким своеобразием, употребляя свое, более точное слово.

– Только недолго, – ответила его мама, продолжая оживленно разговаривать с тетушкой.

Мы вышли на балкон (именно на балкон!) и только прошли несколько шагов, как он обратил свой оживившийся взор на ремень, висевший на стене. Здесь обычно по утрам дядя правил бритву.

– Это тебе? – спросил он с каким-то радостным любопытством.

– Как мне? – не понял я.

– Ну, тебя колотят ремнем? – спросил он, удивляясь моему непониманию. У нас в самом деле никого не били ремнем.

– Нет, – сказал я. – А тебя?

– Бывает, – вдруг вздохнул он, как-то сразу запутав представление о себе. – Ну, во что мы будем играть? Хочешь в Чапаева?

– Давай, – сказал я, не подумав.

– Я буду Чапаев, а ты будешь чапаевская лошадь, – пояснил он. Из чувства гостеприимства я вынужден был согласиться. Не наоборот же, не садиться же мне на этого чистенького мальчуганчика, да к тому же я был старше, хоть и ненамного крупней.

Я встаю на четвереньки. Он ловко взгромоздился на мою спину и с криком – «Вперед!» – стал гнать меня на воображаемые позиции врагов. Время от времени он прищипывал меня ударами ног, обутых в крепкие новенькие ботиночки. Я чувствовал, что игра его возбуждает и он по мере возбуждения все крепче и крепче бьет меня по бокам.

Через десять минут мы уже барахтались на полу, потому что он, неожиданно вжавшись ногами мне в шею, с ненавистью прошипел, что я белый офицер, которому он поклялся отомстить за поруганную жизнь.

Как-то чувствуя, что даже белого офицера надо было бы за мгновение перед тем, как вцепиться в его шею, предупредить, я старался слегка разжать его руки, ослабить закруты его щипков и в то же время делал вид, что охотно принимаю участие в игре. Я почему-то все время помнил, что он – гость и что его обижать нельзя. Во время нашей возни я вдруг почувствовал, что этот мальчик пахнет не так, как наши мальчики. От него исходил какой-то другой, северный запах. Так мне казалось. На самом деле, конечно, это был запах хорошо ухоженного мальчика. И тем более была неприятна жестокость его азарта, переходящего всякие границы.

Обычно ребята во время такой щенячьей возни чувствуют какой-то порог, дальше которого нельзя идти. Этот же, возбуждаясь, пытался как можно глубже проникнуть в мою боль, пытался доковыряться до ее корней, до ее последнего сладостного нерва. Ну я, разумеется, старался не давать ему доковыряться до самых глубоких корней, отвлекая и стараясь подставлять ему более грубые, сравнительно боленепроницаемые участки тела. Наконец мы встали.

– Я сильно покраснел? – спросил он у меня.

– Не очень, – ответил я, глядя на его все еще возбужденную мордочку с пылающими глазами. Он тщательно оглядел себя, поправил чулки, расправил складки на вельветовых штанишках и вдруг стал трясти головой.

– Чтобы кровь отхлынула от головы, – объяснил он свое странное поведение.

Мы вошли в кухню. Он снова стал рядом с матерью, глядя перед собой большими печальными глазами, и легкий наклон тела говорил о неустанной готовности выполнять любые мамины приказы.

* * *

Вот у них-то время от времени я и стал спрашивать, который час. Чаще всего мне отвечала его мать, иногда сестра, иногда этот маленький разбойник.

– Зайди, посмотри, – говорила мне его мать, если я обращался к ней во дворе.

В таких случаях мне приходилось действовать с огромной осторожностью и хитростью. Я знал, что если Эрик дома, то он меня обязательно поймает, потому что дома ему бывало скучно одному, а гулять его часто не выпускали за тихое бешенство его характера, которое не все соглашались терпеть. Происходили столкновения, после которых он получал порядочную порцию ремня от своей мамы.

– Мамочка, родная, я больше не буду! – раздавался его голос, сопровождаемый дикими взвизгиваниями. Двор, притихнув, прислушивался, жалея его и в то же время проявляя понимание необходимости таких экзекуций.

– Наши дети золотые, – покачивая головой, резюмировала тетушка сверху, – только мы не умеем их ценить...

После такой порки он обычно несколько дней не выпускался из квартиры, подолгу сидел у окна, сооружая там всякие машины из своего конструктора. В эти дни он был особенно опасен, пропитываясь ядом злости, как скорпион в брачный период.

Таким образом, когда я входил к ним в дом, а мамы его там не было, я должен был проявлять особую осторожность и хитрость. Смысл моей тактики заключался в том, чтобы с наименьшим количеством болевых ощущений, но ценой этих ощущений, узнать время и выбраться из квартиры. Поэтому, когда я входил в дом, а он мне предлагал поиграть, у меня не было возможности отказать ему.

Совершенно бессознательно я использовал довольно тонкий психологический прием, при помощи которого заставлял его сообщать мне время. Увидев меня, он бросался ко мне с просьбой поиграть, что в конечном счете означало разрешить ему пощипать меня, покусать или даже слегка придушить.

– Хорошо, – соглашался я, – минут десять поиграем, и я пойду.

И вот я уже нарушитель границы, ползущий на советскую территорию, то есть в комнату, в которой стоят часы, а он знаменитый пограничник Карацупа и одновременно его собака.

– Фас! – приказывает он самому себе и бросается на меня. Осторожно держа на спине собаку, грызущую мне затылок, я делаю героический переход в комнату с часами. Я ползу, стараясь не думать о боли, а думать о его приятном запахе, что мне почему-то плохо удается. Наконец я проползаю в заветную комнату и тут уже под влиянием боли, а также тактической хитрости вскакиваю.

– Все! Прошло десять минут!

– Нечестно! Нечестно! – кричит он, показывая на часы. – Сейчас только пятнадцать минут первого.

Он кричит что-нибудь вроде этого, с горящими глазами, весь – трепет, весь – возбуждение, весь – праведный гнев. И я знаю, что он не врет, что это правда.

Интересно, используют ли этот прием следователи во время допроса? Слабое знание детективной литературы не дает мне возможности ответить на этот вопрос. Например, хулигану, избившему человека, может быть, даже убившему его, но не знающему об этом, следователь мог бы предъявить обвинение в убийстве, скажем, оружием, которым этот хулиган явно не пользовался.

Не исключено в таком случае, что в ужасе перед клеветой человек ищет прочной опоры, и оказывается, что нет никакой прочной опоры, кроме правды, которую он схватывает с такой инстинктивной силой, с какой тонуций обнимает внезапно попавшееся ему бревно, и в силу

невозможности, во всяком случае сразу, дозировать свою тяжесть он идет вместе с ним ко дну, тогда как ему надо было только часть своей тяжести отдать этому разбухшему в воде бревну, а остальную часть удерживать за счет работы собственных рук и ног. Возможно, после нескольких погружений тонуций и догадывается, как себя вести, но, возможно, и не догадывается.

Конечно, все может быть. Может быть, я, по мнению некоторых осторожных людей, и не должен был здесь излагать этот хитроумный прием, чтобы им не воспользовались уголовные элементы. Но ведь я из чего исхожу? Я исхожу из того, что уголовные элементы меня не читают. Ну, а если вдруг прочтет кто-нибудь из них по ошибке, то он в процессе чтения обязательно исправится и, следовательно, ему незачем будет использовать этот прием в преступных целях. Такова нравственная сила нашей литературы, иначе, как говорится, и быть не может.

Но вернемся к нашему жизнеописанию. Кроме этого милого садиста, бросив которому кусок мяса, можно было узнать время, еще одно препятствие стояло на моем почти сказочном пути к познанию времени.

Это была его сестра. Правда, непосредственное препятствие это возникало довольно редко. Но по силе душевных терзаний оно не уступало физическим страданиям, которые я испытывал от ее брата. Хотя в отличие от брата она была доброй девушкой.

Лиза была студенткой педагогического института и, видимо, впервые попала на Кавказ. Все ее тут приводило в восторг, а особенно ей нравились наши местные молодые люди, а из местных молодых людей те, которые были армянского происхождения.

Сейчас, думая о причине ее влюбчивости и своеобразной избирательности, я нахожу этому такое объяснение. Как я говорил, она была близорука и при этом не носила очков. По-видимому, для такой девушки все мужчины должны проходить как расплывчатые контуры с лицами, покрытыми чадрой, которая как бы распахивается на близком расстоянии. Но среди этих загадочных чадроносителей выгодно выделялись лица с наиболее контрастными чертами: белозубые, чернобровые, черноглазые. А такими лицами, как правило, хотя и не без исключения, в нашем городе обладали армяне.

Вот я и думаю, что сначала она видела эти лица как наименее расплывчатые, вызывающие желание приглядеться, а потом, приглядевшись, влюблялась в них, потому что невидение (как и неведение в области идей) делало каждое (наконец-то!) рассмотренное лицо свежим и оригинальным. Одним словом, она влюблялась в армян. Это было ясно хотя бы по именам ее поклонников. Первым был Аветик, потом Вазген, потом Акоп, потом Мелик.

Короче говоря, она в них влюблялась, а влюбившись, писала о них рассказы. Каждый рассказ вмещался в одну ученическую тетрадь или был на несколько страничек поменьше. Эти рассказы она читала мне, если я попадался на ее пути, но чаще моей старшей сестре и ее подружкам.

За первый год пребывания в нашем дворе она написала около десяти рассказов, где были выведены молодые люди, в которых она влюблялась.

По общему признанию, лучшим рассказом был самый первый, то есть рассказ про Аветика. Время от времени у нас дома сестра моя вместе со своими подругами устраивала громкие чтения ее рассказов, и чаще всего читался рассказ про Аветика. И хотя обычно читали его в другой комнате, все-таки сквозь однообразное журчание то и дело доносилось: «Аветик, Аветик, Аветик...» От частого употребления многие места этого рассказа, особенно его начало, запомнились мне наизусть.

«...Аветик, высокий молодой человек с мягкими, темными, волнистыми волосами, шел по прибрежной улице. На нем белоснежный костюм, который так шел его спортивной, праздничной фигуре.

– Привет Аветику! – окликнул его кто-то с бульварной скамейки. Аветик посмотрел в ту сторону и уже хотел пройти дальше, поприветствовав знакомых студентов, но что-то его

остановило и заставило к ним подойти. Среди знакомых студентов он заметил незнакомую девушку, которая поразила его своей оригинальной внешностью.

– Аветик, – просто сказал Аветик, когда их представили друг другу, и он пожал руку девушки крепким спортивным рукопожатием. – Кажется, я вас где-то видел, – сказал Аветик, обращая внимание на ее волнующую привычку щурить глаза.

– Вполне возможно, – просто сказала девушка и улыбнулась ему той беспомощной улыбкой, которая всегда обезоруживает мужчин, – ведь я была на вашем последнем волейбольном матче... Вы играли бесподобно.

– Если бы я знал, что вы смотрите, – сказал Аветик, и на лице его проступила краска, заметная даже сквозь густой оливковый загар, – поверьте, я бы играл намного лучше...»

Это место меня всегда раздражало своей нелогичностью. Ведь если он подумал, что где-то ее видел, а потом выяснилось, что видел он ее именно на этой игре, то какого черта он несет всю эту чепуху: смотрите, не смотрите?! Кроме того, мне казалось, что фраза насчет волнующей привычки щурить глаза звучит нахально. Я считал, что в этой фразе должно было быть ясно, что привычка щурить глаза волнует именно Аветика, а не всех. Меня, например, ее привычка щурить глаза совсем не волновала. Дальше шло описание встреч, танцев на вечеринке и тому подобная ерунда. Кстати, описание кофточка, в которой героиня пришла на вечеринку, во время первого авторского чтения рассказа сопровождалось бесподобным по своей глупости движением головы в сторону этой же кофточки, сейчас висевшей на спинке кровати. Движение это, якобы незаметное для других, что делало его еще более глупым, предназначалось моей сестре, как посвященной, хотя я сам видел этого Аветика, и никакого там оливкового загара на его лице не было, обыкновенный чернявый парень, каких у нас полным-полно.

Кстати, во всех сценах этого рассказа он неизменно появлялся в своем белоснежном костюме, и, так как явно нескольких белоснежных костюмов у него быть не могло, я представлял, что этот Аветик каждую ночь стирал свой костюм, а утром гладил его и выходил на улицу. В последней сцене описывался вечер на берегу моря, завершившийся первым поцелуем. «... – Кажется, для спортсмена я слишком сентиментален, – тихо сказал Аветик и склонился к ней.

– Как странно, – прошептала она, и глаза ее закрылись. Из теплохода, стоявшего на пристани, доносилась дивная музыка».

Мать ее, слушавшая вместе с нами этот рассказ и впервые показавшаяся мне идиоткой, почему-то хвалила описание природы, хотя там никакой природы, кроме вздохов волн и пьянящего запаха магнолий, не было.

Я все думал, откуда она взяла этот пьянящий запах магнолий, хотя на всем побережье Абхазии нигде не растет ни одна магнолия. Они растут в парках и во дворах, а на самом берегу не растут.

После этого самого большого рассказа пошли другие рассказы про других армянских парней, потом в середине зимы вдруг снова выскочил Аветик, на этот раз в белоснежном свитере, что соответствовало нашей зимней погоде, но никак не соответствовало другим поклонникам, существование которых делало его появление скандальным. Он появился так, словно надолго уезжал на какие-нибудь соревнования, а она все это время здесь ждала его, хотя и он никуда не уезжал, и поклонники тут же шныряли. Просто они поссорились, а потом, видно, помирились, но ненадолго, и рассказец этот с Аветиком в белоснежном свитере оказался коротким, на полтетрадки.

Так вот слушание этих рассказов тоже было связано с необходимостью узнавать время, иногда прямо. То есть, скажем, я, измученный ее братом, выхожу из другой комнаты, а она в это время, низко-низко склонившись над тетрадь, строчит очередной рассказ.

– Подожди, сейчас кончаю, – говорит она, лежа щекой на тетради, и я вынужден дожидаться ее рассказа, где обязательно откуда-нибудь, если не с парохода, так с катера, если не с катера, так из зелени парка будет доноситься дивная музыка.

Кроме того, я на правах человека, близкого дому, должен был выслушивать их во время коллективных чтений у нас или у нее. Кончилось все это тем, что в тетради с первым рассказом об Аветике, который пользовался наибольшим успехом у подружек моей сестры (им было по тринадцать-четырнадцать лет), так вот, в этой тетради, в том месте, где было написано, что среди знакомых студентов его поразила незнакомая девушка с оригинальной внешностью, кто-то приписал сверху: «и ногами, толстенькими, как бильярдные ножки».

Сестра моя, отдавая ей эту зачитанную ее подружками тетрадь, не заметила приписку, но та ее заметила и обиделась на меня. И напрасно, потому что я никогда не видел настоящего бильярдного стола, кроме детского бильярда, стоявшего в парке, кстати, на тоненьких ножках с металлическими шарами, и все равно недоступного из-за ребят постарше, вечно толпившихся вокруг него.

Скорее всего, эту приписку сделал мой брат, к тому времени уже околавившийся возле городских бильярдных, или кто-нибудь из старших братьев подружек моей сестры, которые, по всей вероятности, тоже околавивались возле приморских бильярдных.

Таким образом, я продолжал узнавать время по более или менее сходной цене болевых ощущений. Иногда, правда, Эрик вдруг превышал пределы терпимости, но и я иногда делал вид, что испытываю невыносимые страдания, когда страдания были вполне выносимы. Один раз он так сдавил мне горло, что я на мгновение потерял сознание. Помню, тогда меня больше всего поразила легкость, с которой можно лишить человека сознания. Оказывается, для этого достаточно более или менее одновременно сдавить сонные артерии, и ты вдруг так запросто теряешь сознание.

Вообще в детстве я отличался некоторой повышенной терпимостью к боли. Помню, когда я ходил в диспансер, где мне делали хинные (вечный малярик), очень болезненные уколы, я часто, дожидаясь очереди, слышал душераздирающие крики детей и иногда даже стоны взрослых. Я же переносил эту боль, не проронив ни звука, что вызывало удовольствие сестер и врачей. Меня ставили в пример.

Сначала мне было стыдно стонать или кричать из сознательных этических соображений, по-видимому, сказывались осколки абхазского воспитания. У абхазцев, как, вероятно, у всех горцев, довольно сильно развит в народном творчестве и в народных обычаях мотив превозмогания боли. Таким образом, этический мотив (стыд), подкрепляясь эстетическим примером (песня, легенда), помогал создавать тот духовный подъем, который отчасти заменял отсутствие наркотических средств в народной медицине. Так «Песня ранения» прямо адресовалась раненому, чтобы помочь ему переносить страдания.

Возможно, в какой-то мере осколки этого сознания во мне жили и мне помогали, а потом меня стали ставить в пример, так что стало еще стыдней проявлять признаки слабости.

Но, видно, всякая боль и терпение имеют свой порог, свои нервные пределы. Помню, однажды, когда я лежал дома после нескольких изнурительных приступов малярии и к нам домой пришла медсестра, чтобы взять у меня из пальца кровь на анализ, я долго и нудно сопротивлялся, никак не мог решиться протянуть ей палец.

Видимо, нервно ослабленный и изнеженный повышенной лаской к больному, я не мог силой стыда преодолеть эту, сравнительно с хинным уколом, маленькую неприятность. Хотя ослабление силы стыда отчасти и было вызвано, как я думаю, общим физическим ослаблением организма, что привело к ослаблению нервной силы, все же главное, я думаю, не в этом. Главное, ослабление силы стыда было вызвано именно повышенным вниманием ко мне как к больному. Это повышенное внимание ко мне выражалось в желании близких свести на нет мнимые и истинные неудобства, которые испытывает больной. Причем сам больной, то есть я, воспринимал это повышенное внимание как справедливую плату за страдание. Это и снижало силу стыда, но воспринималось не как снижение силы стыда, а как одна из форм платы за страдание.

– Мне и так плохо, – как бы говорил я медсестре (а может, и на самом деле говорил), – так что же вы мне еще больно делаете?

Кстати, насколько я помню, повышенное внимание я не только воспринимал как справедливую плату за страдание, но, помнится, было какое-то ощущение недоплаты за эти страдания, что выразалось в капризах, доставлявших хмурое удовольствие.

Каприз – хромой призрак власти.

Кстати, механизм капризов женщины примерно такой же. Ощущение недоплаты, недооцененности. Это ощущение особенно свойственно замужним женщинам. И если вы хотите добиться у них признания, вам надо сделать следующее: вам надо с важным видом отвести такую женщину в сторону и под тем или иным предлогом сказать, что хотя ее муж вообще человек неглупый, имеет хороший вкус (намек: знал, кого выбрать), но при этом вы удивлены одним его поразительным недостатком.

– Каким? – интересуется заинтригованная женщина.

– Мне кажется, – говорите вы, – он вас недооценивает.

Какой проницательный человек, думает о вас женщина, уже склонная отблагодарить вашу проницательность за признание своей недооцененности.

Но шутки в сторону.

Вернемся к нашему, изрядно поднадоевшему сюжету.

В конце концов однажды я попался. В тот день я вышел во двор и увидел тетю Женю, развешивавшую белье. Я дождался, когда она его развесит, и, думая, что она сейчас пойдет домой, спросил, который час.

– А ты зайди и посмотри, – сказала она как-то странно и стала натягивать через двор вторую веревку. Приготовившись получить привычную порцию пыток, я взошел на крыльцо и открыл дверь в их комнату. Бамбуковая палка, при помощи которой поддерживают сохнущее белье на веревке, рухнула мне на голову с каким-то надтреснутым звоном. Из приоткрытых дверей следующей комнаты раздался воркующий смех юного экспериментатора. Палка эта, привязанная к шпагату, была подтянута к крюку, вбитому над дверью. Как только я открыл дверь в первую комнату, он, выглядывая из-за приоткрытой двери второй комнаты, вовремя отпустил конец шпагата.

– Эрик, палку! – раздался в это время голос его матери со двора.

– Сейчас, мамочка, – крикнул он ей в ответ и, исполнив передо мной небольшой танец индейца с копьём, сорвал шпагат с палки и убежал вниз.

Контуженный не столько силой удара, сколько мистической точностью коварного расчета, то есть опять проявившимся лучшим умением обращаться со временем (а что если бы его мама чуть раньше попросила бы палку?), я вошел во вторую комнату, тупо посмотрел на часы, мерцающие золотой бляхой маятника, взглянул на грозное в своей непонятности лицо циферблата и вышел из квартиры, стараясь понезаметней проскочить двор.

Но не тут-то было. Моя собственная тетушка, высунувшись из окна, спросила:

– Сколько?

Я посмотрел на тетушку, а потом вдруг заметил, что и некоторые другие обитательницы нашего двора прислушиваются к моему предстоящему ответу.

– Без двадцати, – крикнул я, нахальством голоса заглушая стыд, и, обрушившись с крыльца во двор, силой инерции взбежал на свое крыльцо, как лыжник с холма на холм.

Схватив портфель, я убежал из дома. Оказалось, что в школу я пришел впритык, и это какой-то занозой застряло у меня в груди. Я-то знал, что добежать от нашего дома до школы можно было за две-три минуты. Так что, если Эрик и его мама захотели бы проверить после меня время, стало бы ясно, что я его не умею определять.

В тот день, придя из школы домой, я заметил, что маленький негодяй, несколько раз попадавшийся мне во дворе, как будто затаил какое-то ехидство. Он все знает, уныло думал

я, но, может, все-таки он об этом не рассказал своей маме? Мало того, что я не умею узнавать время, думал я с ужасом, я уже несколько месяцев морочу им голову, делая вид, что умею. Это придавало возможному разоблачению особую гнусность.

На следующее утро, когда я выходил во двор, мне показалось, что тетя Женя, отряхивавшая на крыльце мокрый веник, посмотрела на меня долгим насмешливым взглядом. Я не знал, что думать.

Приближалось время идти в школу, и я решил прибегнуть к старому способу. Я открыл окно и, упершись головой в железные прутья решетки, смотрел на улицу с тем, чтобы не прозевать прохожего с часами. Как назло, ни один прохожий из тех, кто, по моим соображениям, мог иметь часы, на улице не появлялся.

Через некоторое время из нашего двора вышел дядя Алихан с дымящейся корзиной, наполненной вареными каштанами. Для города он обычно продавал вареные каштаны. Он поставил корзину почти под моим окном и, не замечая меня, стоял, раздумывая, куда идти – направо или налево. Обычно только к пароходу он шел целенаправленно, а так он и сам не знал, где ему лучше продавать каштаны.

Как раз в это время на улице появилось двое бодрых, уверенных в себе мужчин. Только я подумал, что у них на руках могут быть часы, как один из них окликнул Алихана:

– Что это у тебя?

– Каштаны, – ответил Алихан, радостно вздрагивая и делая движение, выражающее готовность гребануть из корзины порцию каштанов.

– О, каштаны! – воскликнул первый бодрячок, и оба они быстро пошли к Алихану.

– Жареные? – спросил второй бодрячок, и по тону его видно было, что хоть и он бодрячок, а до первого ему в бодрости не дотянуться.

– Вареные, – сказал Алихан. Словно смягчая удар, он откинул марлю, и из корзины дохнуло парным запахом горячих, взбухших от варки и потрескавшихся каштанов.

– Жареные лучше, – важно сказал второй бодрячок и, оттопырив карман пиджака, подставил его Алихану. Алихан гребанул стаканом из корзины и, придерживая переполненный стакан ладонью другой руки, перевернул его в карман.

– А сырые еще лучше, – добавил первый бодрячок еще более уверенно и тоже оттопырил карман пиджака. Казалось, все, что надо знать о каштанах и о жизни вообще, эти двое знают лучше всех, а из двоих – первый.

– Дяденька, который час? – спросил я, стараясь обращаться к первому.

Все трое разом подняли на меня глаза. Первый как раз оттопыривал карман для каштанов, и второй поэтому его опередил.

– Без четверти час, – сказал он, вскидывая руку.

– А точнее, без шестнадцати! – добавил первый бодрячок, справившись с каштанами, и теперь большей точностью как бы снова подтверждая свою большую бодрость.

Раздавливая в зубах горячие каштаны, они быстро пошли дальше, и кто-то из них пошутит насчет решетки, из-за которой я с ними говорил и которая напоминала им что-то смешное, но что именно, я не смог ухватить. Они ушли, веселые, бодрые, как бы хозяева жизни и окружающего пейзажа. Они ушли, внушая какое-то странное чувство зависти и снисходительного удивления к своей психической простоте, которую, разумеется, я формулирую сейчас, но почувствовал тогда же. И не только почувствовал, но и с грустью осознал, что все должно было бы быть наоборот, то есть я, маленький, должен был жить весело, беззаботно, а они, большие, должны были быть озабочены сложными взрослыми делами.

Унылый Алихан посмотрел им вслед всей своей длинной согбенной фигурой и, словно только теперь поняв, куда ему идти, поднял корзину и пошел в противоположную сторону. Тут и я догадался, что мне делать.

Я выскочил во двор, поднялся на крыльцо наших новых жильцов и крикнул:

– Тетя Женя, который час?

– А ты зайди и сам посмотри, – услышал я ответ, который ожидал.

Я вошел в квартиру. В первой комнате у стола стояла тетя Женя и гладила редким тогда в наших краях электрическим утюгом. Сын ее, сидя на полу, создавал из своего конструктора индустриальный пейзаж. Пока я проходил во вторую комнату, Эрик провожал меня спокойным взглядом провокатора. Я зашел в другую комнату, посмотрел на ничего не говорящий мне мавзолей времени и вышел.

– Сколько? – спросила тетя Женя.

– Без пятнадцати, – сказал я небрежно и закрыл за собой дверь. Не удержался и несколько мгновений простоял с бьющимся сердцем. Крепкие ноги мальчугана протопали в другую комнату.

– Ну? – нетерпеливо раздалось из этой комнаты.

– Правильно, – сказал мальчик без всякого чувства. Я услышал, как он шлепнулся на пол.

– Видишь, какой ты, – сказала она, – а ведь он единственный мальчик в нашем дворе, который с тобой ладит...

Он что-то ей ответил, но я дальше не слушал. В тот день после уроков я решил не возвращаться домой, пока не пойму, как определять время.

Рядом с прибрежным бульваром, почти в конце улицы Ленина, высовываясь над тротуаром, висели (и, кажется, еще до сих пор висят) большие старинные часы.

Я знал, что многие взрослые люди, проходя под этими часами, довольно часто сверяют собственные. При этом они обязательно, если проходили не одни, громко называли время и выражали неудовольствие или, наоборот, радость по поводу работы своих часов.

В нескольких шагах от этих часов находилась часовая мастерская, словно для того, чтобы клиент после починки своих часов мог бы тут же сверить их работу с этими общегородскими и независимыми от часового мастера часами.

Тут-то я и стоял, поглядывая на толстого часовщика, который, зажав лупой увеличительное стекло, пинцетом копошился в шевелящихся внутренностях часов, то вытаскивая оттуда, то снова вкладывая какие-то насекомообразные пружинки, колесики, винтики.

Потом я переводил взгляд на большие часы, ожидая прохожих и стараясь понять закономерность того, что произошло на циферблате после того, как сверяющие часы назовут новое время. В ожидании прохожих, сверяющих свои часы с городскими часами, я следил за работой часовщика или просто глядел на его витрину, где были выставлены с одной стороны испорченные часы, а с другой – починенные. Все починенные часы показывали одно время. Стрелки остановившихся часов были вольно, непохоже друг на друга раскинуты по циферблату.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.